

НОВЫЙ  
ЛЕФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1927 г.  
НА ЖУРНАЛ

Н О В Ы Й  
Л Е Ф

ЖУРНАЛ  
ЛЕВОГО ФРОНТА ИСКУССТВ

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО  
Под редакцией В. В. МАЯКОВСКОГО

При участии: Н. Н. Асеева, О. М. Брика, Д. А. Вертова, В. Л. Жемчужного, В. В. Каменского, С. О. Кирсанова, Б. А. Кушнера, А. М. Лавинского, П. П. Незнамова, В. С. Перцова, А. М. Родченко, В. Ф. Степановой, С. М. Третьякова, Н. М. Чужака, В. Б. Шкловского, С. М. Эйзенштейна и др.

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:**

на год—6 р., на 6 мес.—3 р. 30 к., на 3 мес.—1 р. 75 к.  
Цена отдельного номера—60 к.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:**

Главной конторой подписных и периодических изданий Госиздата: Москва, Воздвиженка, 10, телеф. 5-88-91; Ленинград, Проспект 25 Октября, 28, телефон 5-48-05, в книжных магазинах, киосках, провинциальных отделениях и филиалах Госиздата, уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, во всех почтово-телеграфных конторах, а также во всех киосках Всесоюзного контрагентства печати.

№ 7



**В НОМЕРЕ:**

В. Маяковский. Хорошо!  
Н. Асеев. Семен Просняков.  
С. Третьяков. Дэн-Сы-Хуа.  
В. Перцов. „Какая была погода в эпоху гражданской войны“.  
Записная книжка Лефа.

1927

07

2

**Г О С И З Д А Т**

**К 10 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ**

**В. МАЯКОВСКИЙ**

**Х О Р О Ш О!**

**25 1917**

**ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА**

Стр. 104.

Ц. 2 руб.

**Н. АСЕЕВ**

**СЕМЕН ПРОСКАКОВ**

**ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА**

**ТРЕБУЙТЕ БОГАТО ИЛЛЮСТРИР. ОКТЯБРЬ**  
КАТАЛОГ ГОСИЗДАТА

**10 лет борьбы и строительства**

Ц. 50 коп.

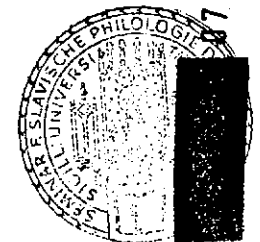
**ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ,  
МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА**

Из поэмы „Октябрь“.

**Хорошо!**

**Вл. Маяковский.**

Я  
земной шар  
чуть не весь  
обошел.  
И жизнь  
хороша,  
и жить —  
хорошо.  
А в нашей буче,  
боевой, кипучей,  
и того лучше.  
Вьется  
улица-змея.  
Дома  
вдоль змеи.  
Улица —  
моя.  
Дома —  
мои.  
Окна  
разинув,—  
стоят  
магазины.  
В окнах  
продукты:  
вина,  
фрукты.  
От мух  
кисея.  
Сыры  
не засижены.  
Лампы —  
сияют.  
„Цены  
снижены!  
Стала  
оперяться  
моя  
кооперация.  
Бьем  
грошом.  
Очень хорошо.“



Грудью  
у витринных  
книжных груд.  
Моя  
фамилия  
в поэтической рубрике.  
Радуюсь я —  
это  
мой труд  
вливается  
в труд  
моей республики.  
Душа  
за грош —  
очень хорошо-ж?!  
Пыль  
взбили  
шиной губатой —  
в моем  
автомобиле,  
мон  
депутаты.  
В красное здание.  
На заседание.  
Сидите,  
не советайте,  
в моем  
Моссовете.  
Розовые лица.  
Револьвер  
желт.  
Моя  
милиция  
меня  
бережет.  
Жезлом  
правит,  
чтоб вправо  
шел.  
Пойду  
направо.  
Очень хорошо.  
Надо мною,  
небо,  
синий  
шелк.  
Никогда  
не было —

так  
хорошо.  
Тучи,  
кочки,  
переплыли летчики.  
Это  
летчики мои.  
Встал  
словно дерево я.  
Всыпят,  
как пойдут в бой,  
по число,  
по первое.  
В газету  
глаза  
молодцы-венцы.  
Буржуям,  
под зад,  
наддают  
коленцем.  
Суд  
жгут.  
Зер  
гут.  
Идет  
пожар  
сквозь бумажный шорох.  
Прокуроры —  
дрожат.  
Как хорошо.  
Пестрит  
передовица  
угроз паршой.  
Что б им подавиться.  
Грозят?  
Хорошо.  
Полки  
идут,  
у меня на виду.  
Барабану  
в бока  
бьют  
войска.  
Нога  
крепка.  
Голова  
высока.

Пушки  
    возьются.  
Идут  
    краснозвездцы.  
Приспособил  
    к маршу  
такт ноги  
— вра-  
    ги  
        ва-  
        ши  
мо-  
и  
    вра-  
    ги.  
Лезут?  
    Хорошо.  
Сотрем  
    в порошок.  
Дымовой  
    дых  
        тяг.  
Воздуха береги.  
Пых-дых,  
    пых-  
        тят  
мои фабрики.  
Пыши  
    машина  
        шибче-ка,—  
вовек чтоб  
    не смолкла!  
Побольше  
    ситчика  
моим  
    комсомолкам.  
Ветер  
    подул  
в соседнем саду.  
В ду-  
    хах  
        про-  
        шел.  
Как хо-  
    рошо.  
За городом —  
    поле.

В полях  
    деревеньки.  
В деревнях —  
    крестьяне.  
Бороды  
    веники.  
Сидят  
    папаши.  
Каждый  
    хитр.  
Землю попашет,  
попишет  
    стихи.  
Что ни хутор —  
от ранних утр,  
работа любя.  
Сеют,  
    пекут,—  
мне  
    хлеба.  
Дают,  
    пашут,  
        ловят рыбицу;  
республика, наша,  
строится,  
    дыбится.  
Другим  
    странам  
        по сто.  
История —  
    пастью гроба,  
А моя  
    страна  
        подросток —  
твори,  
    выдумывай,  
        пробуй.  
Радость прет!  
    Не для вас  
        уделить ли нам?  
Жизнь прекрасна  
    и  
        удивительна.  
Лет до ста  
    расти  
нам  
    без старости.

Год от года  
расти  
нашей бодрости.  
Славьте  
молот  
и стих  
землю молодости.

## Записная книжка Лефа.

В „Красный Холм“ Тверской губернии: приезжаешь на станцию. Извозчиков нет. Есть какая-то телега, она привезла рабочего, едущего на работу в Ленинград. Провожает жена и мать. Тебя соглашаются отвезти, но не обращают на тебя внимания; ты весь, как-то между делом: едут и говорят о том, другом.

Местное отделение Лыноцентра помещается в доме самого богатого купца, а купец живет в этом доме и служит кассиром, и запирает чужие деньги в собственный шкаф собственным ключом. У него, вероятно, иллюзия, что деньги его собственные. Проверяет он счета и записки осторожно, внимательно и старается заплатить не в субботу, а в понедельник.

По дороге на ярмарку. Крестьяне встречных сел разбирают мосты, ночуют у костров с дрекольем, а мосты разбирают для того, чтобы заплатили за наводку. Шоссе есть, но по шоссе не едут, потому что лошади некованые и боятся „щекотки“, как здесь говорят, — не выносят твердой дороги. На ярмарке продают из мануфактуры только весовой лоскут: новую ткань забракованную, разорванную на куски и перепутанную. Так как другой нет, то покупают эту. Ходит мужик: весь он в крапинку, а рукава у него в полоску.

А между тем в Лихославле все-таки построили льняной завод и процент посева льна увеличился сразу на 12%. Построила кооперация. И деревня сейчас хочет быть городом и изменяется, а то, что у нас бывает смешное, то СССР смешна так, как смешна картина нового художника. Люди реагируют на новое смехом — законная реакция.

Из Вотской республики вернулся сейчас сценарист Гребнер и рассказывает: христианство у вотяков вымерло немедленно с падением династии Романовых, но жрецы держатся. Жрецы у них вроде агрономов: дают советы по хозяйству, заодно приносят в пихтовых рощах в жертву черных коров. В южной части Вотской области бога не видим, но все-таки для него в каждой избе в специальном домике на дворе есть маленький шкафчик, куда ему ставят хлеб и кумышку — водку. В северной части Вотской области в этом же шкафчике есть изображение гуся; гусь там — бог воды, скворец — бог воздуха.

Иногда жрецом избирают 14-летнего девственника. Вообще же девственность там не уважается.

Вотяки сейчас ведут раскопки, ищут свою историю, а одна бывшая жрица сделалась кандидаткой в члены ЦИКа. При смерти женщины режут корову, можно и не черную. Когда умирает мужчина, то убивают лошадь. Когда нужно выгнать чорта из деревни, то в избу, а избы вотятские большие, тяжелые, двухэтажные, — то в такую избу ударяют бревном, чорт вытряхивается и так его постепенно оттесняют к околице. Кинематографа там не видел, а фотографы туда заходят.

Изумительно красноречивый писатель Феодорович в „Правде“. Когда он пишет про Туркестан, то напускает такую экзотику, как будто это не газета, а постановка Бассалыги. Но напрасно Феодорович не пользуется в своих статьях картой и энциклопедическим словарем, тогда бы он знал, что пентинка не венерическая болезнь, и что он заставляет революционных, героических женщин в степях, где проложена железная дорога, проезжать зараз по 200 — 300 верст верхом. Не нужно быть в газете таким красноречивым.

Все это оттого, что у нас, когда хотят похвалить журналиста, так говорят ему: „Какой журналист! Не журналист прямо, а беллетрист!“ И думают, что его повышают этим в следующий ранг.

Не нужен ли какой-нибудь ученой экспедиции писатель, который терпеливо ездит на лошади, не боится жары и не рассказывает никому, что у него делается в желудке, если даже он и съест что-нибудь не упомянутое в энциклопедии. Если нужно, обратитесь в редакцию „Нового Лефа“, пришлем. Согласны в отъезд. Расстоянием не стесняемся.

Один мой знакомый молодой писатель до того, как быть писателем, работал пастухом в деревне. Он комсомолец и хотел деревню переделать, а кулаки решили его убить. Пастух в деревне скитается по избам как разъездной корреспондент по достопримечательностям и открытиям электростанций. За одну овцу пастух ночует в избе ночь, а корова считается за две овцы. Изводили пастуха разными способами: и топор на него роняли и кислотой поили. Ничего, увертывался и каждое утро выходил на улицу и начинал играть в рожок. Деревня просыпалась сонливо и говорила: „Жив все-таки“. Сейчас пастух в Москве и хочет поступать в ГТК.

Писателя Светозарова, когда он ехал на лодке один из Москвы в Астрахань в одной деревне били, но в этой же деревне дети знали наизусть стихи Казина.

Когда пишут комический сценарий, то потом его все переделывают. Между прочим, шофера так определяют различную степень неопытности. Предположим, что стоит автомобиль. „Серый“ подходит и жмет у него сигнальную грушу — это полное незна-

ние дела. „Сырой“ подходит и переставляет скорости, что уже портит машину. Сценарий переделывают и серые и сырые. Каждому хочется показать, что он тоже умный человек, если он работает в Комиссариате народного просвещения. Сперва пожмет грушу — переделает надписи, потом почувствует себя человеком творческим и шофероподобным и передает эпизод. Удержаться от того, чтобы не ткнуть пальцем, не переделать может только очень культурный и выдержанный человек. Я помню на одном просмотре жена директора фабрики задумалась и сказала вдохновенным голосом: „А хорошо было бы сюда поставить надпись: „А в это время“. В результате сценарии у нас получаются не очень смешные. Не работайте на чужом станке!

Шалапин говорил про актеров: „Вот такой-то актер ко мне на спектакли ходит. Вы думаете, он учиться ходит, он 10 лет ждет, пока я голос потеряю“. Это в наших нравах. „Мы ленивы и любопытны“ — говорил Пушкин, а кто помнит, по какому поводу он говорил? По поводу ненаписания биографии Грибоедова. Мы формалисты любопытны и неленивы и Тынянов биографию Грибоедова написал. Наши друзья 10 лет ходят в публику и ждут, пока мы потеряем голос, а пока что ужимают в бумаге.

Я расстался с одним шофером в 1917 году. Он был большевиком, хороший шофер из токарей, шофер из рабочих. Сговориться нам было очень трудно потому, что мы были разные люди. Через шесть лет на автомобильном пробеге со мною заговорил человек знакомым голосом, а нужно сказать, что человека в автомобильном шлеме почти невозможно узнать: от лица остается один треугольник носа, бровей и рта. Он назвал свою фамилию: тот самый шофер. „А я вот пишу теперь“, сказал я ему, а он отвечает даже обиженно: „Мне это не нужно говорить, я слежу за литературой“. Человек научился многому. Не знаю, не потерял ли он при этом свою прежнюю ядовитость?

Писатель с трудом вырывает свое словесное произведение из автоматизма привычного дня. Произведение писателя становится привычным переходом в новую область эстетики — эстетики штампов.

К этому новому восприятию пишут и новую биографию. Вернее биография заменяет анекдот.

Площадь вокруг великих могил вымощена добрыми пожеланиями мешан. Они дарят мертвым собственные добродетели.

Есть гардиновская лента „Поэт и царь“. Две части этой ленты заняты фонтаном. Настоящее название ленты поэтому „Поэт и фонтан“.

Пушкину здесь подарили молодость, которую он не имел перед смертью, красоту и идеологическую выдержанность.

Крестьянам он читал народные стихи. А Николая ненавидел.

Дома Пушкин сидел и писал стихи. На глазах у публики Пушкин садится за стол.

Посидел немножко, встал и прочел „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“.

В семейной жизни Пушкин до Гардина говорил, что, имея дома повара, можно обедать в ресторане. Но теперь он исправился. Сидит дома, жену любит одну, а детей катает на спине.

Настоящего Пушкина, очевидно, понять нельзя. Сделали чучело.

Когда Пушкина убили, то положили в ящик и отправили с фельдъегерем в деревню зарыть.

Постановщик окружает дроги факелами. Получается красиво, но смысл перевозки ящика с трупом, кража трупа у славы, не получается.

Павильоны большие и маскарад, конечно, разные маски, которые должны, очевидно, изображать душу Пушкина. Пушкин же погиб глухо на околице: вскрыли его бумаги — и друзья удивились: „Пушкин думал, Пушкин был мыслитель“.

Булгарин, конечно, изображен в отрывочке и злодеем. Ходит и покупает „Современник“. Тут еще Гоголь стихи слушает. Про хронологию, конечно, и говорить не приходится. Исторически достоверен, вероятно, один халат Пушкина.

Все вместе напоминает рисунок для обучения иностранному языку: в одном углу косят, в другом сеют, в третьем пожар, в четвертом пашут. Снега нет, а в фильме бы сделали.

В честь этих фонтанов на Страстной площади поставлен дополнительный памятник.

На полотне зима, так как в фотографиях. Перед зимой на длинных прямых ногах стоят с шерстью на голове молодой человек (чучело) Дантес и чучело Пушкина в клеенчатой накидке. Глаза обведены синим.

Эта безграмотная ерунда — сыпь той болезни, которой больна фильма.

### *Сказочные люди*

Есть сказка у Федора Сологуба.

Пошли раз девочка и мальчик на берег реки, видят рак.

Идет рак, как всегда раки ходят по земле: куда глаза глядят.

Сели дети над ним и кричат: „Смотрите, рак пятится“.

А рак идет вперед, куда глаза глядят.

Прибежали дети домой и кричат: „Мама, мы видели, как рак задом пятится, только странный такой рак — голова с передом у него были сзади, а зад с хвостом — спереди“.

Меня хотя бы убедить, что я в кинематографии пичусь. Так полагаются: если снимаются идеологически невыдержанные ленты, то значит виноват идеологически невыдержанный человек.

Или по карикатуре „На посту“ Шведчиков не на того молится.

Между тем я не только пишу статьи, но и сценарии; сценарии мои читаются в рабочих клубах и т. д.

Очевидно у меня голова с передом на месте.

Основная ошибка писателей и хроникеров „На посту“ в том, что они мыслят людей стационарно, а не функционально. Знаменитое дерево советской литературы, выпущенное прошлым летом, когда старшие мальчики уехали,— тому доказательство.

Там каждый писатель закреплен на ветке, как музей и церкви в путеводителе по Москве. Это просто, но не имеет ничего общего ни с одной научной системой.

Диалектическое изменение писателя не понято.

Хотя, казалось бы, революция показала много примеров не „измены“ писателя, а изменения его значимости и его установки.

Один путь Мейерхольда и Эйзенштейна мог бы научить людей диалектике художественной формы.

Режиссер и сценарист знают сейчас, что без Октябрьской революции русская лента была бы иной и была бы хуже.

Работать на современном и революционном материале или над историческим в современном его понимании любопытней, чем создавать прокатные буржуазные ленты, которые не принуждают человека к изобретательству. Это я доказываю своей работой, своими разговорами с молодежью и статьями.

Изменение, которое я в себе констатирую, не сегодняшнее, но для меня, как теоретика, понятное.

Неумение людей видеть, где хвост и где голова, мне тоже понятно. Оно позволяет этим людям в искусстве ползти назад без угрызения совести. (В. Ш.)

В „Печати и революции“ за июль—август этого года появилась критическая статья В. Красельникова, посвященная творчеству выдающегося современного поэта.

Статья написана старательным поклонником. В ней есть ошибка, происшедшая от услужливости. Она заключается в следующем.

— После революции поэты стали писать стихи о революции. Причем это были и такие поэты, которые раньше не писали стихов о революции, поскольку ее (т. е. революции) еще не было. Все это вполне естественно.

Но лирические стихи — дело туманное. Они допускают толкования. И вот наш критик начинает объяснять предыдущее через последующее. Получаются стыдные вещи „под марксизм“.

Так „Близнец в тучах“ — это „чуткий барометр настроений лучшей части русской интеллигенции, зажатой в лапах николаевской России, но протестующей“.

Или „существование поэта-интеллигента, отгороженного от окраин и фабрик, от ритмов трудового дня „забором дома“ (читай, строем капиталистической России) было определено, как „приговор к ссылке“.

Это чудовище „исторического материализма“ никто иной как Пастернак!

Автор этой критической статьи, эксплуатируя хороший метод, иллюстрирует слова Герцена, что у каждого талантливого регента есть свой бездарный хор.

Но точно так же, как нельзя только держа открытым рот—петь, нельзя составляя подобные статьи выдавать их за марксистскую критику.

Дальше, если уж берешься за научную критику, нельзя делать так, как поступает автор. Цитируя статью о подсудном поэте, принадлежащую перу В. Перцова и написанную им для № 1 журнала „На посту“ 1924 года, он замалчивает статью того же В. Перцова о том же поэте, напечатанную в журнале „На литературном посту“ — в январском № 2 1927 года.

Между тем автор критики выступает во всеоружии ссылок, библиографии вплоть до самого последнего времени, сам допущен к сотрудничеству в журнале „На литпосту“ т. е.

не может и не имеет права отговариваться незнанием второй статьи В. Перцова.

Неужели это прием? — Такой „прием“ недостойн принудительной критики, а тем более марксистской. (В. П.)

Из поэмы

Н. Асеев.

## Семен Проскаков

*Стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны.*

### Партизаны.

... У деревни Тележиной нам пришлось задержаться трое суток и у нас вышли патроны и нам стало воевать нечем. Тут издали нам приказ наш командир, что б кто как мог — так и спасался от белой сволочи“.

(Архив Истпрофа ЦК горнорабочих, 483, рис. 8, С IV. А.)

Можно написать:

... „Тропка вела  
не то на небеса  
не то  
на елань.“  
Мы ж хотим без выдумок, —  
что жизнь  
нам дала,  
рассказать о видимых  
людях и делах.  
Чтобы —  
к правде лицом —  
пути не терял  
сух и весом  
наш матерьял.  
Чтоб  
не теплых цыплят  
холить нежненько,  
чтоб  
ноге не цеплять  
по валежнику.

Шагу не наступишь —  
натрудилась

нога.

Ты ли нас погубишь  
распроклятая

тайга!

Отвечал печально  
наш

товарищ-командир:

Я вам не начальник —  
кто куда хочешь иди!

Много троп наслежено,  
да кончились

пути.

Вот она

Тележка,

да к ней не подойти.

Стоит вам послушать,  
бойцы,

мои слова:

нечего нам кушать  
и нечем

воевать.

Сосны еле шепчутся  
обстигла нас беда:

стянемся покрепче,  
разойдемся

кто куда.

Мы тебе ответили,  
товарищ-командир,

встретиться

на свете

суждено нам впереди.

Слушайся приказу  
голодная братва:

расходись

не сразу —

по одному, по два!

Тихий шорох

раскатись

по тревожной

ночке

расходись,

расходись

в темь

по одиночке.



Разровняй трава  
наш след  
по еловой улице...  
Ночью были,—  
утром — нет,  
лишь  
туманы курятся!

## Дэн Сы-Хуа.

(Био-интервью.)

### Несколько слов.

Мы, на черноземе нашего Октября, вскармливающие непомерную китайскую революцию, лихорадочно и законно вгоняем в себя любое знание о Китае, как малокровный вгоняет под кожу шприцы мышьяка.

Наше прежнее знание Китая похоже на изуродованную руку. Ее надо сперва сломать, а потом снова срастить правильно.

Время литературной алхимии, для которой Китай в коллекции народов есть камень загадочный и неопределимый, — миновало.

Прлитические статьи и схемы дают алгебру китайских событий. Имена стираются, люди сплываются в амёбы классов, а глаз алгебраика следит за движением и прожорливостью этих амёб.

Мы требуем именованных чисел.

Статьями, очерками, дневниками, записями очевидцев накапливается сегодняшняя арифметика Китая.

Мы требуем глубокого бурения.

Так возникла, закрепилась и понравилась мысль: проточить древесину нового Китая чьей-нибудь биографией, как жук-древоточец прогрызает балку.

Ненавистна выдуманная повесть и сочиненный роман.

Почетное когда-то звание сочинителя в наше время звучит оскорбительно.

Настоящий сегодняшний ремесленник — «открыватель нового материала», бережный, не искажающий формовщик его.

Книга «Дэн Сы-Хуа» сделана двумя. Сам Дэн Сы-Хуа был сырьевщиком фактов, я — формовщиком их.

Видеть то, что тебя окружает, разглядеть подробно свою жизнь — умение высокой марки. Дается оно большой тренировкой, журнальная публицистика и газетный репортаж — лучший инженер.

У Дэн Сы-Хуа не было этого умения (оно у него будет, когда он испишет много пудов бумаги).

Он с энтузиазмом встретил мое предложение написать точную биографию китайского студента. Но увя первыми словами, которые он произнес, были: «Семья наша интеллигентная и мелкобуржуазная».

Он благородно предоставил мне великоленные недра своей памяти. Я рылся в нем, как шахтер, зондируя, взрывая, скалывая, отсевая, отму-

чивая. Я был попеременно следователем, духовником, анкетщиком, интервьюером, собеседником, психо-аналитиком.

Все что оформил, я затрудняюсь назвать иначе, как интервью. Но интервью это охватывает жизнь одного человека, поэтому я и прибавляю к нему частицу «био».

Дэн Сы-Хуа был моим студентом на русской секции Национального университета в Пекине в предгрозовые годы 1924 — 1925. Из благословенной и богатой глуши родной и любимой Сычуаньской провинции, попярающей ногами семьдесятю миллионов своих жителей плодородную почву, орошенную верхним течением Ян-Цзе, из Сычуана, спиной прислонившегося к предгорьям Тибета и истокам гигантских рек, текущих на юг в Сиам и Камбоджу, — мальчик Сы-Хуа через одутловатый ленивый Пекин дошел до Москвы. Он мерил своими шагами панели Волхонки и Ильинки, листал страницы «Правды» и раз в два месяца ездил на трамвае № 6 в Черкизово, где за разваленным двориком в настоящей китайской харчовке подадут, каким-то чудом завезенные в Москву, бамбуковые початки. Он уехал из Москвы в Китай так же незаметно и бесшумно, как бесшумно входил в Пекине в мою комнату, мягко ступая матерчатými туфлями. и неся на выпяченных плечах и вдавленной груди свой конусообразный, легко струющийся халат.

С полуулыбкой жаловался он мне, что его однокурсники — «политики» высмеивают его прозвищем «литератор». Он мечтал о создании в Китае газеты, журнала, театра и кино. Все эти работы он равнял со стратегией революционных выступлений. Кисточка писателя казалась ему равной штыку солдата.

Сейчас он в Китае. В трудном и опасном для резолюционера Китае.

Эта книга только несколько глав подлинной человеческой жизни. Она оборвется словами: продолжение следует.

Я желаю, чтобы это продолжение было написано самим Дэн Сы-Хуа.

Я.

Меня зовут Дэн Сы-Хуа. Я — Сы-Хуа — из семьи Дэн, что в сычуаньской деревне Дэн Цзя-Чжень на реке Ян-Цзе. Имя Сы-Хуа дал мне при рождении мой старший дядя, постоянно пьяненький философ и неудавшийся мандарин. Сы-Хуа значит «Мир Китая». Одновременно это обозначает «Светлый Цветок».

«Мир Китая», «Светлый Цветок» — странные это имена в наши дни, когда в Китае война.

Личное мое имя только Хуа. Сы — это имя всего нашего поколения. Сестру зовут Дэн Сы-Куэн. В именах двоюродных братьев также есть это Сы.

Отец мой — Дэн Я-Пу, и имя Пу отличает все отцовское поколение.

Его носят и мои дяди — старший дядя Дэн Со-Пу и младший Дэн Ти-Пу.

Я родился в большом родовом доме Дэн в январские дни, когда обмелевшая и погулубевшая словно болезненной худобой

с шумом бежит великолепная Ян-Цзе в теснинах крутых сычуанских берегов. Наш дом — цепь дворов, обставленных комнатами, террасами, лепится вверх по горе. С верхних дворов через верхушки деревьев видно голубое тело реки. В молитвенном зале Ли-Тан, высоком и полутемном — пять метров до потолка, в молитвенном буфете лежит родовая книга Чу-Пу. Этой книге 300 лет. В нее вписана вся история рода Дэн. Род наш обыкновенный.

Наш род начинается 2 000 лет тому назад мифическим Дэн-Цзи, учеником Конфуция. Для китайских родов обычно обзаводиться знатыми или святыми родоначальниками. От этого Дэн-Цзи в книге идет запись одних только родоначальников. Эта часть — легендарная часть книги.

Историческая часть книги начинается триста лет тому назад — это возраст самой книги. С пришествием к власти чужеземной манчжурской династии Цинов верный павшей китайской династии Мингов мандарин и военачальник Дэн Фын-У ушел в Сычуан в добровольную опалу.

В то время Сычуан был полупустыней. Террор разбойничьих шашек Чжан Сиен-Чжуна и Ли Чжу-Чена вырезал целые уезды. Сычуан обезлюдел. Отбился от разбойников только один уезд, предводимый женщиной-полководцем. В этом уезде донныне уцелел коренной сычуанский язык. В остальном Сычуане язык почти тот же, что в северных коренных китайских провинциях Чжили, Шенси, Хенань. Этот язык занесли сюда переселенцы. Земли было много, — бери, кому не лень.

Дэн Фын-У сел на землю со своей семьей. Семья разрослась в целую деревню Дэн Цзя-Чжень, что значит в переводе — село имени Дэн. Сначала все эти люди в этой деревне носили фамилии Дэн и были родичами. Затем некоторые Дэн, разоряясь, стали переходить на другие места, а на место их поселились пришельцы.

И сейчас в деревне Дэн Цзя-Чжень много людей носят фамилию Дэн, но для меня они уже не родные. Они за порогом пятиродства. А мы считаем родичей шестиродных уже чужими.

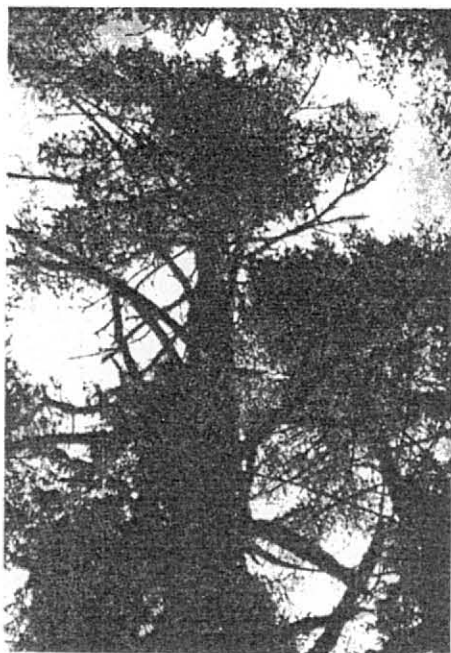
Наш родовой дом в Дэн Цзя-Чжень я помню поотрывочно. Я в нем родился в 1903 году. В следующем году — мне тогда значилось два года, ибо мы, китайцы, считаем возраст не от рождения, а от зачатия — меня увезли в деревню Сиань Ши, где я и провел детство. Когда я родился, в родовом доме жило 17 человек Дэн и трое прислуг. Когда-то этот дом был много больше. Дэн плодились, расселяя своих сыновей и внучат в пределах огромной родовой стены. Но пришло время, некоторые из них обеднели, захудали, куски прежнего владенья перекупили деревенские торговцы гаоляном и пшеничным самогоном. Однажды, бродя под новый год со сверстниками от двери к двери, я заглянул в самогонную мастерскую этих богачей. От котла над очагом шла бамбуковая трубка в холодильник. Мне ударил в нос тяжелый, мутный запах спирта. Я убежал прочь, прыгая по истлевающим фундаментам выморочных кусков владения к воротам, за которыми жили живые Дэн.



Фото А. М. Ролченко: „Пушкино“.



Фото А. М. Родченко: „Пушкино“.



## Дом.

Берег Ян-Цзе каменист и глинист. Глина и рыхлый камень около пристаней, где грудятся лодки рыбаков и перевозчиков. Ян-Цзе широка в этом месте. Она раз в пять шире Москвы-реки против Кремля.

В детстве я хорошо различал, что делается на том ее берегу. А теперь северный пекинский ветер и пыль испортили мне глаза. Весною Ян-Цзе великолепна: бугры берегов не просто зелены, они красны, желты, голубы, от цветения и цветенье это отражается в чистой голубой воде. К лету Ян-Цзе рыжеет, набухает илестою мутью, — это льют ливни у далеких истоков, в диких притибетских горах. Когда вода Ян-Цзе голуба, мы ее пьем, предварительно вскипятив на очагах. А кули — бродячие жнецы и бурлаки барок — пьют ее сырой, устав от работы и зажаждав. Пьют, закусывая головкой горького лука, который, по их мнению, обладает свойством делать всякую воду здоровой.

Между стеной дома и рекой по склону гряды деревьев. Если глядеть на нашу деревню с реки, ее трудно различить сквозь древесные чаши. Каждый клочок, каждая стена в строгом порядке обсаживается деревьями по указаниям почтенного Фын-Шуэй.

Фын — значит ветер, Шуэй — вода. Фын-Шуэй — это человек, который указывает новоселам, где поставить дом, как лучше осветить его солнцем и чтобы ветры разбивались об стены и как выгоднее обсадить деревьями и какой породы. Этот же Фын-Шуэй, когда умирают люди в нашей деревне, отыскивает подходящие места для их могил, чтобы около них росли хорошие цветы, чтобы тело их не съела почвенная сырость, чтобы красивые виды окружали то место, откуда, по буддийским повериям, душа начнет свои бесконечные посмертные перевоплощения.

Сквозь обсады дерев глаз не проникает до стен и ворот. Зелены густые сады и чист воздух в нашем Сычуане.

Вот план нашего дома в Дэн Цзя-Чжень.

В первом большом дворе, среди деревьев, огромный каменный бассейн полутора аршин высоты. В нем копится дождевая вода и живут золотые с коричневым и серебряные с фиолетовым рыбешки. Из этого бассейна мы поливаем зелень, растущую внутри домовых стен. Вдоль стены лепятся деревья мускатного ореха. Он очень дорог. Чтобы его не покрали, он посажен под прикрытием основной домовой стены. Три дворами-террасами рассечен дом и замкнут поверху огородной террасой. Лестницы ведут со двора во двор сквозь стены, а между вторым и третьим двором помещается проходная гостиная, где принимают явившихся гостей. За гостиной последний двор, а за двором ряд главных комнат. Посредине зал Ли-Тан, рядом с залом комната деда, начальника рода и дома, а по другую сторону — брат деда. За верхнюю стеной дома огород обсажен деревьями и окаймлен полукруглой живой бамбуковой изгородью. Он переходит в фруктовый сад. Там тутовые деревья, гра-

наты, абрикосы, апельсины, персики, каштаны, мандарины, приносящие в среднем до пятисот оранжевых шаров на дерево за лето, орехи. Весь этот сад и огород вокруг дома вместе с самым домом занимает двадцать му земли. Это полторы десятины. С этих полутора десятин свободно живет семнадцать человек, населяющих дом. Огород богат, как музей. Различные кочаны сычуанских капуст, среди которых главенствует зеленая капуста. Ее соленую в бочках Сычуан сбывает вниз по Ян-Цзе. Огурцы, редиска, редька, репа, горох, салат, кабачки. Эти зеленые кормильцы ежедневно переходят с гряд на наш обеденный стол. Только старшие едят ежедневно немного мяса в нашем доме, остальные получают мясной кусочек не чаще двух раз в месяц.

Поколения в доме распределяются по горе сверху вниз. Старшие живут наверху, окруженные кладовыми и окружая собою родовой алтарь Ли-Тана. Дальше идут комнаты отца, дядей, гостиная и кухня и, наконец, в самом низу помещается третье поколение, — комнаты для приезжающих гостей, дворничья и большая классная комната, где учит деревенских ребятишек мой старший дядя. А рядом с комнатами дедов и отцов узкие — помесь коридорчика и кладовки — комнатенки слуг.

В молитвенном зале Ли-Тан прямо против входной двери у стены стоит престол-киот, похожий на буфет. Он черный и огромный. Хитрое резное дерево его выложено костью. По черному дереву его верхней половины дорожкой сверху вниз тянутся золотые иероглифы. Их пять: „Небо“, „Земля“, „Император“, „Престол“, „Учитель“. Этот столбик иероглифов снизу подпирается шестым иероглифом, значение которого — „Престол“. По обе стороны этой главной таблицы, похожей на запрестольные иконы ваших русских церквей, висят кипарисные дощечки в две ладони величиною. На этих дощечках начертаны имена предков ближайших трех поколений, — деда, прадеда и прапрадеда. Более старые предки, занесенные на дощечки, уже убраны отсюда в деревенский храм. Сверху вниз тянутся иероглифы имени, ученой степени и чина, причем справа идет колонка иероглифов предка, а слева — его жены.

Низ молитвенного буфета пузатее, чем верх, поэтому образует приступочка. Посередине приступочки, перед лентой главных иероглифов, фарфоровая курильница, ушастая, ведерного объема. В ней копится пухлый пепел курительных палочек.

Внутри нижней части алтаря — шкаф. Там курительные палочки, масло для светильника, связки денежных слитков, клееных из фольги, сжигаемых в день поминования мертвых, и родовая книга Чу-Пу. Как и во всех Чу-Пу родовых Ли-Танов всего громадного Китая, здесь вписаны трехсотлетние иероглифы: имена, даты рождений, браков и смертей, дни получения ученых степеней и чинов и дни ухода из родных мест в чужие страны.

Каждый день, утром и вечером, кто-нибудь из маленьких Дэн — обычно этим делом занимаются внучата и сыновья — втыкают в пе-

пел три палочки и зажигают их верхние концы желтым язычком пламени, день и ночь горящего у носика небольшого светильника, похожего на соусник. Когда в семье было достаточно денег, этот светильник горел в Ли-Тане и день и ночь. Когда у Дэн не стало хватать денег на масло, мы стали зажигать светильник только на ночь. Он из лампы стал ночником.

Палочки тлеют, от них тянутся синие веселые нитки к таблицам и белый пепел цилиндриками обваливается в курильницу.

Когда пепла в курильнице набралось с верхом, ее передавали двоюродному брату, и он сыпал нежно-серую пыль в реку под домом.

— Чистый пепел в чистую воду, святую воду реки Ян-Цзе, — говорили мать и бабушка.

По бокам курильницы вазы с цветами и медная чаша. Эта чаша — гонг. В нее бьют палкой, и она кричит, созывая души предков на парадный обед к столу, поставленному посреди Ли-Тана по праздникам, когда полагается поминать предков. Чаша кричит в дни рождения предков, в пасмурные дни конца года и в новый год, в летний праздник повелителя воды дракона, в праздник молодого риса, в праздник наступающей осени и в главный праздник — поминования всех предков. На стол ставятся лучшие блюда. Тут и мясо, и рыба, и молодые овощи.

Вот сейчас май, у нас в Москве холодно, над Чистыми прудами идет снег, а у нас в Сычуане хозяйки рвут с желтых гряд и кладут на столы свежие огурцы.

Внучата (старшим некогда), ежедневно в школе прилежно копирующие с кистью в руках над мудреными линиями иероглифов, аккуратно вырисовывают имена предков на квадратах бумаги и кладут эти визитные карточки мертвецов на стол перед таблицами. Это значит, что предки пришли и сели за обеденный стол. Потом вся семья становится на колени и трижды кланяется таблице, сняв лоснящиеся ермолки и держа их обеими руками. А затем женщины уносят блюда в столовую, а дети собирают визитные карточки предков, выносят их и сжигают на каменных плитах двора, чтобы, неровен час, искра не попала на бумажную оклейку окон и не спалила деревянных бревенчатых стен дома.

Так начинается праздничный обед. Мы сами едим вместо духов, а алтарь стоит важный и безмятежный в полутемном Ли-Тане. Растя в другой деревне, я редко видел это сооружение. Мне было шесть лет, когда я проявил большое вольнодумство по отношению к этой священной машине.

Помню — приезд к бабушке в Дэн Цзя-Чжень. Я гляжу на цветы в вазах, они пахнут полями и берегами. Я говорю: эти цветы не для предков, а для нас.

— Почему ты это говоришь? — нахмуривается мой старший дядя.

— Так ведь они очень хорошо пахнут.

— Вот душам предков и приятно, — морщится благочестивый старик.

— А разве у духов есть носы, чтобы чують этот запах?

— Как тебе не стыдно, Сы-Хуа, — понурился дядя, — дедушка на тебя смотрит.

Со стены Ли-Тана глядел портрет деда, умершего еще до моего рождения. Как полагается всякому родоначальнику, в пятидесятилетний день рождения он заказал за двадцать даюнов портрет художнику из Чунь-Цзина. Родоначальник должен оставить о себе память, пока смерть не пришла за ним. Он-то и смотрел на меня со стены Ли-Тана. Дед — мандарин второй степени — Цю-Чжень. Выражаясь советским языком, это мандарин провинциального масштаба, ибо есть мандарины масштаба уездного (это ниже) и есть государственного и дворцового (мирового — сказал бы я) — это выше. У него вислые усы с проседью, расходящаяся кверху шапка манчжурских времен и нагрудный мандаринский квадрат на халате, с вышитыми на нем шелковыми и золотыми птицами.

### Мой старший дядя.

Семья Дэн всегда была именитой семьей. В Чу-Пу рядом с именами предков неукоснительно вырастали иероглифы ученых степеней, ими полученных. Триста лет назад первый Дэн, мандарин и генерал, ушел на Сычуанскую окраину не желая изменить мужицкой китайской династии Мингов для чужеземных завоевателей манчжур. Нелюбовь к манчурам и к их Цинской династии, триста лет управлявшей Китаем, прочно жила в нашем роду.

Я знаю среди Дэн много мандаринов разных степеней, включая и очень высокие, но редкие из них становились чиновниками. Учительство в деревне, почетная выборная должность и возделывание родового клокка земли — вот основные работы Дэн.

Старый Китай знал пять ступеней учености. Пройдя низшую и среднюю школу, юноша получал звание студента — Тунг-шань. Раз в три года в Ямынях окружных городов (их узнают по приставке фу), происходили экзамены на бакалавра — Сю-цай. Раз в три года бакалавры провинции держали экзамен в главном городе на мандаринов второй ступени — Цю-жень. Через три года Цю-жень мог экзаменоваться в Пекине, на мандарина третьей ступени — Динь-ши.

Была еще последняя, высшая ступень мандаринства — Хан-мин. Экзамен на эту степень держали в императорском дворце.

Давно, задолго до моего рождения, старший брат отца выдержал первый экзамен на звание Цю-жень в далеком Чен-ду, столице Сычуана. Он мне рассказывал, как это было. Его посадили в клетку. Это делалось для того, чтобы с внешней стороны обставить экзамены наиболее честно. Человек вносил с собою в клетку бумагу, кисточки, тушь и мозги, распухшие от потрясающего количества всосанных ими имен, строк, афоризмов, комментариев и дат.

Существовало поверие, что если человек безнравствен или преступен, то в клетке он потеряет присутствие духа и срежется. Поэтому готовящийся к экзамену и идущий в клетку ученый должен

был всячески следить за собою, чтобы не совершить греха, хотя бы величиною с булавочную головку. Даже шагал ученый поособенному, осторожно, чтобы не раздавить жужелицы или муравья. Даже жестикулировать он должен был осторожно, плавно, дабы не повредить какое-либо из микроскопических существ, носящихся в воздухе.

Самым дезорганизирующим несовместимым с ученой грехом считалось прелюбодеяние. Ученому запрещено было и думать о романах, любовях и куртизанках чайных домов. Даже при встрече с женщиной на улице он должен был опускать глаза. Ученым оставалось из удовольствий вино и опиум. Если сдавший экзамен ученый не шел в чиновники и не пускал своего высокого звания в выгодный оборот, ему оставалось одно — учительство. Дэн не шли в чиновники, но учителей в их роду было много. Отец и оба дяди немало часов своей жизни положили на учительский стол, муштруя очередное поколение коротеньких и серьезных людей в халатиках.

В дни досуга ученые собирались в мандаринском клубе, за пьяной трапезой с приятелями по экзаменам, такими же мандаринами. За этими обедом, под круговую чашечку подогретой рисовой водки, развеселившиеся педанты состязались, сочиняя внезапные стихотворения на заданную тему — то нежные и лирические, то жгущиеся издевательством. В этих стихах пустою ракетой взрывались мандаринские мозги, начиненные строками поэтов, кости которых обратились уже в тысячелетнюю пыль.

Мой старший дядя был очень способен к учению; он легким шагом проходил ступени мандаринской лестницы, и не было для него сомнений, что он выйдет победителем с последнего экзамена в императорском дворце.

Но... в семье случился ряд смертей. Умер дед старшего дяди, затем бабушка, потом мать, отец и наконец мачеха. После каждой из этих смертей полагается держать по три года траура. А в дни траура нельзя жениться и нельзя держать экзамены.

Пятнадцать лет траура подряд выдержал старший дядя. А когда траур его кончился, оказалось, что за это время была отменена (1904) старая система экзаменов. Европейско-американский университет раздавил старые мандаринские экзаменационные клетки.

Никогда не мог простить этого старший дядя новому Китаю и моему отцу революционеру-сунятсеновцу.

— Твой отец изменник, — говорил он мне сквозь пьяненькие слезы. Из-за него я не смог получить мандаринских степеней.

Когда дядя был трезв, он брюзжал. Выпив за столом чайник горячего желтого вина, он делался веселым, остроумным и добродушным монархистом. Он спойл бы и меня, младенца, если бы не вмешательство бабушки. Помню, он окунул обеденную палочку в вино и дал мне обсосать. Мне не понравилось, горько. Кроме того он курил опий.

Я забираюсь к нему в комнату. Там стоит кровать — огромное сооружение с досчатыми потолком и полом,двигающееся в ком-

нату, как внутренность фотографического аппарата в его оболочку. Между кроватным потолком и полом — столбики. К этим столбам прикрепляется полог, задергиваемый на ночь. В изголовье кровати, прикрепленной к тому же помосту, стоит столик и рядом с ним ящик, заменяющий европейский комод. В теплые дни все это сооружение можно вытаскивать во двор и спать на вольном воздухе. Не страшен даже дождь. Он стечет с досок над кроватью. В комнате кроватный потолок нужен для того, чтобы с бревен комнатного потолка не сыпалась на спящих разная нечисть вроде скорпионов и сколопендр.

Дядя лезет в свой ящик и вынимает оттуда толстую бамбуковую опийную трубку, тяжелую от прилипшего к ее стенкам опийного дегтя. Толстую, как флейта. Он достает банку с опиумом, не плохим, черным, как вакса, а прозрачным, желтоватым, густым, как клей. Вынимает камень, иглу и лампочку. Лампочка особая, медная. Пламя ее закрыто стеклянным колпачком с маленьким отверстием наверху, в которое вытягивается от огня жаркая струйка. Посередине трубки медное седло с отверстием, куда вставляется стеклянная полая луковица. Концом иглы дядя достает из банки каплю опию и нагревает ее над лампочкой. Опий вскипает и пузырится белой пеной. Эту пену на полированном камне дядя скатывает в плотный шарик, прокалывает этот шарик иглою, как бусинку, помещает эту бусинку в раструб стеклянной луковицы и ложится на кровать, держа выходное отверстие трубки у губ, а шарик все время подогривая над купольцем лампы. Вдыхая опийный дым, он рассказывает:

— В экзаменной клетке я сидел три дня. Я взял с собою бамбуковую корзину с едой. Специальные сторожа обыскали меня и корзину. Они следили, чтобы в лепешках и огурцах не было запрятано заранее заготовленной статьи. Я должен был написать — комментарий к поучениям Конфуция. Я выдержал экзамен с треском. Мое сочинение было отпечатано и разослано по всему округу знакомым, родственникам и товарищам по экзамену. Я не скажу тебе темы, ты мал и не поймешь ее, да и сам я боюсь, что забыл уже ее сложное заглавие.

Гнусный сладкий запах опиума затягивает комнату. Дядя уже рассказывает легенду. С нее перескакивает на стихотворную строфу.

Под купольцем лампочки горит фитиль, плавающий в горчичном масле. Оно дает безвкусное пламя, ценное курильщиками опию.

Потом дядя замолкает, лицо его синее, рот отваливается от трубки. Иногда я пугаюсь и бужу, его но чаще убегаю из его комнаты, одуренный вязким и тошным запахом. Умирая, дед запретил дяде курить опиум. Он повиновался. Но сила привычки была так велика, что после обеда дядя уходил в свою комнату, вынимал из ящика и раскладывал около себя на кровати все принадлежности для опикурия. Лежал около холодной трубки.

Но не курил.

Дядя в семье старший. Но не он старшина. Он даже живет не

в одном с нами доме. Наша семья бедна, и есть в ней правило, что получивший ученую степень должен кормить сам себя. Вот почему мой старший дядя, мандарин степени Цю-жень, живет отдельно при школе.

Старший дядя крепко любит меня, малыша. Я еще не слезаю с рук старших и только что научился говорить. Отец мой в далекой Японии в университете, а семья наша из Дэн-Цзя-Чжень давно переехала в другую деревню по имени Сиань-Ши на том же берегу Ян-Цзе. В этой деревне дядя учителствует.

Помню праздник. На берегу реки возятся дети. Они теребят отцов за свежие полы халатов и выпрашивают игрушки или конфеты. Они пристают к отцам, и слово „баба“ (так на простонародном китайском языке называют отца) многогласно крутится над берегом. Я спрашиваю дядю:

— Дядя, а разве у меня нет папы?

Но я назвал отца не „баба“, а „фу-цин“ термином изящной китайской литературы, как меня научил поклонник изящества, пьянький мандарин дядя.

Однажды, расчувствовавшись, дядя стал мне, младенцу, дарить свою мандаринскую шапку с костяною шишечкой, обозначавшей его ученую степень. Я отказался взять это емкое, но неудобное сооружение — мне оно не понравилось. Дядя отвернулся и тихо заплакал.

### Жизнь светает.

В серых сплывающихся сумерках детства прорывы лиц, слов, вещей, и голубой Ян-Цзе в корыте расцветших гор. Дом в Сиань-Ши много меньше родового. В нем тесно и бедно. Отец в Японии. Приходится жаться. В доме одна прислуга, да и то в дни, когда мать болеет. Огорода нет, вместо него небольшой фруктовый сад с персиками и бананами, да относящийся к дому мандаринник.

Бабушка кормит меня подсолнухами, высушенными на солнце. Она раскалупывает семечки и — семечко за семечком — учит меня считать: ига, лянга, санга, сыга, уга — один, два, три, четыре, пять... а потом рассказывает сказки:

„В старые времена жили дети, которые не слушались старших. Однажды мать их пошла пригласить в гости бабушку и сказала:

— Не выходите, дети, из дому, потому что в горах живет злая баба-яга, которая ест детей. — Мать ушла, дети терпели, терпели, не вытерпели. Был среди них один неслух и непоседа. Он решил погулять по саду и подблн на прогулку других. Увидела баба-яга детей, обернулась она бабушкой и пришла к ним в гости.

— Где мама? — спрашивает баба-яга, а дети отвечают:

— Вас звать пошла.

— Ну, значит, я с нею разошлась по дороге.

Дети бабушке обрадовались и после ужина пошли спать с нею вместе.

Разлеглись все на кроватях. Баба-яга положила к себе под

одеяло самого младшенького, а когда стали дети засыпать, то под одеялом и съела его.

Ест баба-яга, хрустит косточками. От хруста дети проснулись и спрашивают:

— Что ты, бабушка, кушаешь?

А баба-яга отвечает:

— Боб жую, сухой попался.

Дети встренулись:

— Дай нам тоже.

— Ладно, одному дам, — сказала баба-яга, позвала маленького к себе под одеяло и съела его, как и первого.

Так поела она всех детей, вплоть до старшенького. Лежит старшенький в постели и напало на него сомнение, откуда это у бабушки так много бобов. Как только сытая баба-яга уснула, он украл у нее боб и увидел, что это братний палец\*...

Здесь была сказки конец. Рассказывая эту сказку, бабушка пучила глаза и делала страшные гримасы. Я очень боялся этой сказки, и никуда не ходил один.

Бабушка — вторая жена моего деда, того самого, что висит на стене в Ли-Тане. Она мачеха моего отца, детей у нее не было, может быть, потому она так неотвязно нянчилась со мной.

Мама работает на кухне или учит приходящих девочек грамоте. Мамой я горжусь, грамотных женщин, да еще и учительниц во времена моего детства в Китае было мало.

Бабушка шьет, а я сижу около нее на низеньком стульчике. На мне халатик и вышитые цветами туфли поверх белых носков. Босиком ходить нельзя, засмеют. Босиком ходят только кули. Кули — это низшие люди, мазанные, грубые, ободранные, извошки, бурлаки, носильщики, бродячие жнецы, словом, все, кто за медные чохи с квадратной дыркой посерединке продают свои огромные, коричневые, трудом и дракой налитые клубки мускулов. Я побаиваюсь кули, но в доме у нас с ними яшакуются, особенно мой младший дядя, живущий с нами (тоже учитель). За это он на подозрениии у деревенских мандаринов.

Зато если нам для чего-нибудь понадобится кули, мы его найдем очень легко.

Сижу около бабушки, раскладываю из обрубков и брусков дома, пагоды, мосты. Мне кажется, что я строю мост, самый мой любимый, перекинутый близ Сиань-Ши, через речонку, бегущую в Ян-Цзе. Он каменный, в скульптурах. Из двухсаженных глыб резные драконы, эти китайские боги воды, стерегут его. Трое ворот своими лапами вцепились в мост. Эти ворота посвящены честнейшим вдовам округи Сиань-Ши, не нарушившим верности мужьям и после их смерти.

Мост этот выстроил богатейший мандарин пятьдесят лет тому назад. Единственный сын мандарина был калекой. Приближение женщины к нему доводило его до припадков; нечего было думать о потомстве от этого слабоумного. Род мандарина угасал. Некому было оставлять скопленные деньги. Тогда вырос мост. На его плитах в

жаркие дни жатвы крестьяне молотят снятый с полей урожай. Нет лучше токов в округе, чем наглаженные каменные половицы моста.

Кладу бруски и смешиваю их снова около бабушкиных ног. Маленьких и круглых, как лошадиные копыта. Бабушка называет их гордо „Золотыми лилиями“. Бабушка шьет и напевает и меня учит песенке:

И ды о  
Эр ды о  
Фы тю  
Фы най  
Тье га по

Первая пара гусей  
Вторая пара гусей  
Улетают  
Прилетают  
Встречать бабушку (и не просто  
всякую бабушку, а мать матери).  
Бабушка не любит  
Рис со свиным салом  
Бабушка хочет кушать  
Яйцо дикой утки.

Га по пу цзы  
Иу чжао фань  
Яо цзы ся хо  
Шуэй я тань

Я понимаю эту хитрую бабушку, почему она хочет дикое утиное яйцо. Оно редкостное, его трудно добыть.

У нас в доме едят только куриные яйца. Мама и бабушка очень вкусно их готовят. Они обмазывают яйцо разведенным в воде пеплом рисовой соломы или же приготавливают кашу из глины и пепла гороховой соломы, обмазывают яйцо, оно обсыхает, делается большим, с кулак величиной, а затем его зарывают в землю на двадцать дней. Когда такое яйцо в праздник попадает к нам на стол, у него твердый коричневый белок, мягкий, зеленоватый желток и свежий, хороший вкус только что сваренного. Бывают у этого яйца в белке прожилки в виде веточек кипариса. „Это я его выдержала в кипарисовом пепле“, — объясняет мне бабушка.

Прохладный ветер колышет жару. На кухне гудят, пылая, очаги и шуршит посуда в маминых руках. Далеко внизу, на пристанях невидной отсюда Ян-цзе, зычно кричат рыбаки и с писком всплескивают ребятишки. Мне хочется идти к реке, но меня туда не пускают. Мама боится: могут зашибить, обидеть, столкнуть в воду. „Хорошо, я пройду садом“, — говорю я. Мать смотрит на меня подозрительно, ведет в классную комнату, мажет кисточку в вязкой тушечнице, сажает меня на колени и тонкой щекотной кистью выводит трехлепестные черные цветы на моих ладонях и полотняных подошвах туфель.

Теперь я волен идти. Если я сунусь к воде, она смоет цветочки и я буду выдан.

Я видел, как других ребят били родители за смывые знаки.

Я не пойду к реке.

Она возле Сиань-Ши страшная. Берег круто уходит в глубину подводя. Рыбачата и бурлачата плавают и ныряют у пристаней, дерутся и ругаются. Удилища внимательно склонились к воде. Вода желтая. Рыба табунами идет в верховья речонки метать икру.

## Мой день.

Просыпаюсь очень рано. Еще темно. Кричат рассветные петухи. Мать ровно дышит рядом. Ее голова спокойна на ребристом валике подушки. Она с бабушкой легла поздно, ей еще рано и трудно просыпаться.

Верчусь. Это не разбудит матери. Спрессованная солома тюфяка не шумит под лепешкой ватного матрасика. Ватное одеяло за ночь угрело меня, но я хочу гулять. Я люблю синеватым досолненным утром смотреть, как над каждой трубой деревни Сиань-Ши подымается сизый дымок от дров, запаленных в очаге.

Сплю я в рубахе. Я тихий ребенок, не озорник и не пачкун. Я ношу ее бережно и меняю раз в три дня.

— Уо яо чжи най, — шепчу я матери на ухо, — я хочу встать.

Мать не целует меня, даже не прижмется щекой к щеке. Поглядит по голове, скажет ласковое слово, вот и все.

Быстро садится мать на постели и одевается. Мамины ноги чуть меньше нормы. Чуть слишком выгнут подъем. Я люблю мамини ноги больше бабушкиных „золотых лилий“. Бабушка на своих ходит в развалку, от шага до шага минута, а мне хочется торопиться.

Быстро натянула на себя мать самодельные белые тканевые чулки и матерчатые туфли, продела ноги в трубочки синих штанов, накинута халат до колен и принялась за меня. Она застегивает на моем боку халатик шариками пуговиц и обмывает меня. Принесит из кухни горячей воды в медном тазу (всю ночь под котлами на кухне тлели угли), опускает конец пухлого полотенца в воду, отжимает, намыливает и этим мыльным концом бережно протирает мне лоб, лицо, шею, уши. Пока я жмурю намыленные глаза, она ополаскивает полотенце и снимает с меня мыло. Затем приносит новую порцию кипятку и полотенцем, смоченным в свежем кипятке, обтирает начисто и накрепко мою физиономию. Я с удовольствием высвобождаю из ее пальцев последовательно веки, ноздри и оттопыренные губы.

Пока я был мал и кочевал с маминих рук на бабушкины, мама чистила мои обрастающие сахаром зубы десны, обмотав палец тряпицей.

Теперь я большой. У меня своя мягкая щетка из лошадиной щетины. Соленый зубной порошок гонит слюну. А затем я долго полощу рот водой, сливаемой после варки риса.

Четырежды в день моюсь я и чищу зубы: утром, вечером и после двух пищ.

Светло сверкают зубы сычуанцев. Все, даже кули, даже ободранные носильщики паланкинов, если не чистят, то обязательно после еды полощут рот. Потому мало у нас зубных врачей.

А если из улыбки богатого купца светится золотой резец, это не значит, что он его проел на конфетах или выбил в драке. Вставить золотой зуб купец считает щегольством и шиком. И он дает дантисту опилить совершенно здоровый зуб только для того, чтобы надеть на него чехол из желтого металла.

Со мною кончено. Она принимается за себя. На столике возле ее изголовья таз, зеркало, гребень. Пальмовым гребнем она прочесывает волосы, смазывает их маслом, разделяет на пряди, пряди скручивает на затылке и серебряным лезвием шпилек плоских, как ложка, скальвает эту котлету волос.

Я свою сложную шевелюру несую в бабушкины руки.

— Цин вен, — говорю я учтиво, входя в бабушкину комнату, — как ваше здоровье?

Мудрая матово-сизая лысина сияет над моим курносьем. Со лба у меня волосы подбрены, но отпущены на макушке и за ушами. Бабушка заплетает их мне в две косички с боков. Длина косичек — это моя и бабушкина гордость. Когда я вырасту большим, косички соединятся в одну, и длинная коса взрослого мужчины ляжет на мою спину.

Бабушка бережет мои волосы и раз в три дня стирает мою головушку в горячей воде.

Утро кончено, до еды еще далеко, дороги мамы и бабушки расходятся. Мама уходит на кухню, а бабушка со мной, захватив бамбуковую корзину с кухонного стола, — за овощами на улицу.

Разносчики гнутся под упругими коромыслами. Капуста, огурцы, редька оттягивают их плечи. Хрупкий кочан и тупоносые огурцы переселяются из корзины разносчика в нашу. Здесь не Дэн-Цзи-Чжень, здесь нет огорода.

Особенно я люблю, когда бабушка ходит в лавку за свиным салом и коричневой острой соей, приготовленной из бобов. Дома их смешают и получится темная каша, — мое любимое блюдо.

Лавки узенькие, темные, похожие на коридор. В тяжелых горшках на полках соя, соль, уксус, перец и другие приправы. Рядом с этой — еще более лакомая лавка. Там желтоватый песок неизменной сладости, приготовленный из сахарного тростника, там зеленые палки этого тростника мокнут в чанах с водой; сушеные фрукты, варенье в глиняных корчагах и стеклянных банках и грецкие орехи.

Хозяин лавки наш свойственник. Он протягивает мне конфету.

Я молча уставляюсь в бабушкины глаза. Если она разрешит, я конфету возьму. Но бывает — она, хлопоча по лавке и прихвываясь к товарам, — не заметит моего просительного взгляда, — тогда я уйду без конфеты.

Но никогда бы я не взял конфеты тайком и самовольно. Старший дядя любил говорить: не надо брать чужих вещей. И это дядино правило я выучил наизусть. Даже если в гостях мне дарили игрушку, я, уходя домой, тихонько оставлял ее где-нибудь в уголке.

Впрочем, я не особенный любитель конфет. Хотя мне четыре года, но я рассуждаю: от конфет портятся зубы. А черные огрызки первой сгнивающей смены зубов во ртах моих знакомых школьников, наводят на меня ужас.

По каменным плитам утренних улиц Сиань-Ши мы с бабушкой тянемся домой. Вход к нам сквозь аптеку. Меня подташнивает от



душного запаха лекарств, идущего из полутемных коморок, где по стенам нагромождены пчелиными сотами ящички с надписями. В ящичках — ветки, сушеные цветы, листья, травы, ягоды, корни. В ящичках смердят сушеные ядовитые насекомые — скорпионы и мушки. Их прикладывают к нарывам, чтобы дозревали скорее. Белые кости тигра толкут и пьют с водкой или, растерев в порошок, смешивают с салом и намазывают на пластырь. Костями тигра лечат костоеду, переломы и те болезни костей, при которых стучат костыли. Мертвая вонь идет от пантов — это молодые рога оленей-маралов, твердые бархатистые шишки с присохшей изнутри кровью. Их отваривают в воде, а потом сушат и растирают в порошок. Пилюли из пантов едят люди прозрачные от перенесенных болезней и бородачи, которых трясет старость, и хмурые отцы, у которых никак не рожаются первенцы. Одно рога хватает на многих, и рога эти дороги.

Верхний щит морской черепахи варится подобно рогу и лечит слабых, а в особенности от мучительных и сложных женских болезней. Но если бы какому-нибудь хворому богачу из нашего Сиань-Ши врач прописал растертые в порошок рубины и топазы или корень „жень-шень“, стоящий дороже золота, или сушеное сердце, вырезанное из преступника, у аптекаря этого не нашлось бы. Его аптека — только деревенское отделение центральной богатой аптеки уездного города Тенань, до которого от Сиань-Ши по реке 50 ли (30 километров).

У аптекаря двое ребят, — один постарше, другой мой ровесник. Но я прохожу сквозь аптеку, уцепившись за бабушкин рукав и не глядя в их сторону. Они сейчас молчат — поразительный случай. Это единственные в мире ревы. Перед плакатальной выдержкой их пасуют все ослы Сиань Ши и его окрестностей. За это мама запретила мне знаться с ними.

Улица Сиань-Ши, прогреваемая все выше и выше лезущим солнцем, с ее разносчиками, хозяйками и детьми, бегущими в школу, остается за моей спиной. Я огибаю стоящую против ворот раздвижную переносную ширму и вступаю в отрезанный и от деревни, и от Сычуана, и от всего света мир нашего двора.

Я знаю, зачем ширма, поэтому никогда не толкну и не уроню ее. Она оберегает наш двор не только от посторонних глаз, но и от злых духов, которых носится в ветре больше, чем мух над падалью, больше, чем комаров над болотами. Ширма не даст рывку ветра закинуть к нам во двор таких тварей.

В новый год китайцы наклеивают на створки дверей и эти дворовые ширмы красную бумагу для отпугивания духов. На бумаге написано — „Чжун Тай-Гун здесь“.

Чжун Тай-Гун по китайским повериям — герой, который дал имена всем богам и вещам и ухитрился запереть под замок всю нечисть и чертовщину загробного мира. Духи боятся его имени, как мухи мухомора.

На нашей ширме нет имени Чжун Тай-Гуна. наших взрослых

он мало интересуется, а я мал не могу написать иероглифа, потому что не умею еще держать в руках кисточку.

Восемь часов утра. Пора завтракать.

В столовой за квадратным столом, бабушка, дядя и я. Мы едим рис, вареную зеленую капусту, сою с салом, тоу-фу — творог из бобового молока, соленые огурцы, фасоль и редьку. Все блюда стоят на столе, а перед каждым едоком белая тарелка и палочки для еды — куай-цзы.

Когда был мал, ел ложкой со своей тарелки. Горд, когда впервые получил куай-цзы и стал есть, как взрослый. Но обижало, что мать и бабушка накладывают еду мне на тарелку. Пылая самолюбием, встал на стуле на колени и самостоятельно протянул куай-цзы к миске свежих овощей. На коленях не удержался, тело перевесило, и я грохнулся виском об угол стола. Криком оглушил сам себя. Все вскочили. Дядя схватил меня за руки, к стремительной ране приложил мамин платок и побежал со мной к врачу.

Чернобородый врач заклеил рану пластырем. Рана гноилась 12 дней, потом зажила. Рубец на виске и поныне.

Чай пью, когда захочу. Иду на кухню и наливаю его из медных чайников, круглые сутки стоящих на очаге.

На кухне от дыма все утро плачут мамыны глаза. Из-под трех вмурованных в плиту котлов выбивается пламя с кудерьями дыма. Узкая труба не вмещает в себе огненной струи, идущей от двух каменноугольных топок и одной дровяной. Хрустят под котлами огромные поленья дров. Они пришли к нам на кухню из лесов с необхватными деревьями, что растут на горах выше Сиань Ши. Они приплыли сюда горными речонками или приволоклись на плечах крестьян, которые, в свободные от полей дни, промышляют дровяным делом. Дрова дешевы. Полторааршинное полено, диаметром фут, которому я по пояс, стоит один тунзер — полкопейки.

А уголь приехал по Янзы с копей, что за 40 ли от Сиань-Ши.

Я слышу на лестнице полуптичий-получеловечий щелчок. Это пришли девочки, мамыны ученицы.

Часто моргая замученными дымом глазами, мама вытирает свои закопченные руки, подтягивает штаны, одергивает кофту и отправляется учить их грамоте.

Эти девочки — единственная моя компания. Я сын их учительницы, поэтому они относятся ко мне заботливо и называют меня братом.

Летом девочки белые. Весной и осенью их кофты и штаны синее, а зимой становятся черными. У каждой под затылком коса замотана цветным шнурком, как электрический провод изоляцией. На лоб падает челка, из-под которой мышатами бегают глаза.

Девочки не говорят, а перешептываются, не смотрят, а переглядываются, не хохочут, а перехихикиваются. Что ни случится все им смешно. Они прыскают в платок. Сбившись в кружок, они рядят и пересушивают, кто красив, кто не красив, кто неловок, кто скуп, кто наряден. В свободные минуты между уроками они

кличут меня в свои игры, но я не умею играть и являюсь только затем, чтобы поглядеть, как они подбрасывают ногой тень-цзы — ножной волан — оперенный комочек, который под ловкими ударами ступни взлетает на воздух и никак не может упасть на камни.

Надев веревочное кольцо на пальцы, девочки снимают друг у друга это кольцо в подвертку, и кольцо обращается в веревочные узоры, перила, решетки.

Девочки учат меня играть в шахматы. Эти шахматы непохожи на европейские. На доске девять на девять квадратов нет выточенных фигур. На черных и красных шашках выведены иероглифы. В игре пять пешек, две пушки, две повозки, два коня, два канцлера, два ученых и один император. Вся эта армия располагается не в два ряда, как в Европе, а в три.

А потом девочки играют на флейте. Тонкие, кудрявые, внезапно обрывающиеся мелодии. Я люблю флейту. Я сам тянусь посвистать в бамбуковую дудку и побегать пальцами по ее отверстиям, но мне нельзя. Мама наглухо запретила мне флейту, — я слабый ребенок, мне нельзя напрягать грудь.

Я сижу на знойных плитах двора и наблюдаю мелких желтых муравьев, многолюдною улицей суетящихся от щели до щели. Я должен уважать муравьев — они образец общественной жизни. Так мне говорила бабушка.

Конским хвостом, насаженным на рукоять, девочки бьют тучных мух и дают их мне, а я кормлю ими муравьев. Брошенная муха обрастает желтыми капельками муравьиных тел, а через минуту, на этом месте остается только слюда мушинных крыльев.

Бабушка шьет крохотные туфли для своих „золотых лилий“. Я устал от муравьев. Сажусь на низкий стульчик рядом с ней, кладу голову на ее колено и дремлю до обеда, который у нас в полдень.

В 11 часов девочки приседают перед матерью, говорят ей нин-хао — всего хорошего, и, щебеча полушопотом, всей гурьбой пропадают за дворовой ширмой.

После обеда людям спать не полагается. Еще Конфуций сказал своему ученику: „Любящий спать похож на трухлявый чурбан, из которого нельзя извлекать статую“. Но меня это не касается. Я после обеда сплю.

Ветерок с Ян-Цзы шелестит листьями, раздвигая зной. Во дворе мама с бабушкой стирают белье в кадushке и корыте. Серое мыло, приготовляемое в Сычуане из особой жирной глины, скользит по мокрой хлюпающей ткани.

От этого мыла слава китайских прачечных; они работают только им и не пользуются европейским жировым мылом.

На тонких бамбуковых жердях виснут тяжелые от влаги выкрученные рубахи. Солнце дождет то, чего не дождали слабые мамини руки.

Я просыпаюсь, бабушка зовет меня гулять за деревню в поле.

## Поля.

Мы с бабушкой шуршим подошвами по мощеной дороге. Мимо нас сломя голову пробегают ребята. Они ведут на бечевках бумажных змеек. Змейки похожи на страшных людей, на тысяченожек, стрекоз, бабочек. Ребята их мастерят сами, купив на три тунаура бумаги, на 10 — бечевки, и сами нарезают остов из бамбуковых планок.

На пять тысяч жителей Сиань-Ши не больше 50 лошадей. Лошали не для полей. Они у богатых людей для верховой и вьючной езды: по нашим горным тропам повозки не ходят. Лошади есть у военных и у хозяев постоянных дворов и у промышленников, дающих на прокат верховых коней и проводников.

У крестьян коней нет. У них коровы. Коровы эти не для молока.

Я не помню вкуса коровьего молока. Коровы и не для мяса: 400 лет тому назад был издан специальный закон, запрещающий есть коровье мясо. А много раньше этого закона буддийское евангелие предписало не проливать крови животных. Корова у нас — полевая работница.

По окраине Сиань-Ши стоят домишки и коровьи хлева тех крестьян, которые, — я вижу это отсюда, — копаются в полях. Я смотрю на них с уважением. Старший дядя уже успел рассказать мне, что в Китае есть 4 сословия: сы — ученые; нун — крестьяне; гун — ремесленники и наименее почтенное сан — купцы. Кули за пределами сословий.

По отлогим подошвам гор — узор глинянных ободков рисовых полей. Рисовое поле вроде пруда. В него напускают воду, а затем взламывают дно плугом, похожим на гнутый кинжал, к которому за середку припряжена корова. Корова шагает, меся копытами и коленами желтый ил. Пахарь руками и грудью гнетет книзу рукоять кинжала. Кинжал вспарывает слежалое дно, выворачивая скользкие комья. Потом эти комья разбивают граблями, и илистый пуховик для засева риса готов.

В чуть перекрытых водой питомниках, словно ядовитая медная зелень, пушится рисовая рассада. Когда она вытянется сантиметров на двадцать, ее вырвут и, сложив пучками по 10 стеблей, пойдут втыкать в ил рисовых полей-прудов. Пучок от пучка полметра.словно по линейке намечается шахматный узор, и закат раззолачивает рисовые пруды, над водою которых чуть торчит зеленая щетина.

Быстро всходит рисовая шерсть. Подходит средняя лета с ее оглушительными ливнями, когда вода бежит с гор, точно пот с ребер загнанной лошади. Озерки, выкопанные с таким расчетом, чтобы пойты рисовые поля, словно на полочках разложенные под ними, переполняются водой. Вода перехлестывает через закраины полей, она размывает глину валов и грозит пройти по тихому спешущему рису руслами новорожденных бешеных потоков.

В это ливневое время, днем ли, ночью ли, крестьяне, измокшие и голодные, по пояс в воде, отбивают атаки разъяренной воды,

...руки в воду, они вступают вдоль глиняных оград, заляпывая прое-  
даемые водою бреши, и шлюзовыми щитами регулируют водосток.

На рисовых полях нет женщин. Рис — трудное дело, мужское.

Зато в канавах вдоль рисовых полей много мальчуганов с закатанными выше колен штанами и руками по локти в грязи. Они шарят под камнями и чего-то ищут, раздвигая гущу созревающего риса. Это они ловят крабов.

Под осень крабы вылезают из норок, чернеющих над ручьевою водой, ходят кушать вкусный рис и толстеют. Мальчишки хватают крабов за бока и бросают в корзины, чтобы завтра пронести по улицам Сиань-Ши.

Рис поле рождает раз в год. Зато другие поля круглый год на полном ходу.

Весною на них вызревает озимая пшеница и бобы, засеянные еще в декабре. В апреле на смену бобам в землю ложатся кукурузные зерна правильными рядами. За три месяца вытянувшись саженными пиками, поспевают кукуруза, а внизу, между стеблей ее, вспухают сладостью и влагой огурцы, дыни, арбузы. Кукурузные зерна съедают люди. Листья сжевывает скот, а кукурузные палки размачивают, загнивают и удобряют ими землю или же сушат и жгут в очагах.

После кукурузы в разгар лета снова перепахивается поле и засеивается гречихой. Поздней осенью снимают гречиху, и снова озимая пшеница с бобами ложится в землю.

Больше всего я весною любил поля в бобовых цветах. Миллион севших на зелень бабочек напоминают крылатые цветы бобов.

Наши поля никогда не отдыхают. Приехав в СССР, я прочел в книге о трехполье и удивился, как можно держать землю под паром. Мы возвращаем похуевшей земле жир размоченными в воде гнилыми листьями. Мы усыпаем поля пеплом рисовой соломы. Мы запахиваем в землю золу костей, мешками привозимых в деревню из города. Весенние разливы приносят скользкий ил. Плодородие осаждается из северо-западных ветров лессовой желтой пылью.

Больше ста зерен за одно посеянное приносят наши рисовые поля.

Там, где поля переходят в каменные откосы гор, растет „тунг-цзы“ масляное дерево. На третий год после посадки оно уже приносит коричнево-зеленый плод вроде сливы, с крошечной костью внутри. Весною никакой ветер не в силах раскидать висящего над берегами Ян-Цзе аромата белых цветов тунг-цзы. А осенью его жирные сливы хлюпают и щелкают косточками под прессами, крестьяне дают его просто досками. С прессов течет обильное светлое масло — одно из великолепных богатств Сычуана. Этим маслом кораблестроители всего мира вслед за сычуанскими лодочниками промазывают подводные части барок, джонок, сампанов и кораблей, чтоб дерево не гнило, не размокало и не ели его древо-точницы. Это масло горит в наших светильниках, борясь за фитиль с керосином, в светлых бидонах „Стандарт-Ойл К<sup>0</sup>“, идущим к нам из Америки.

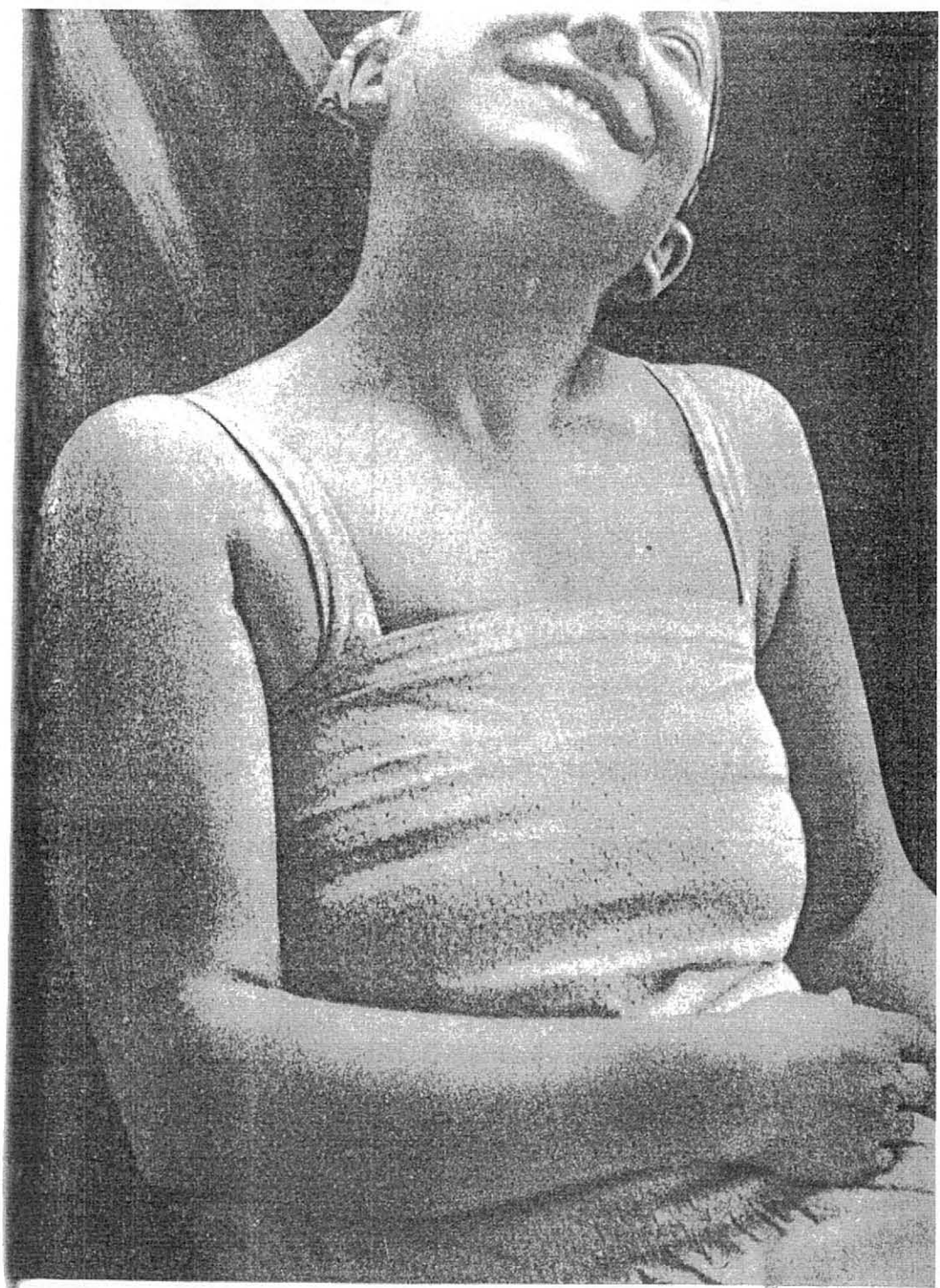
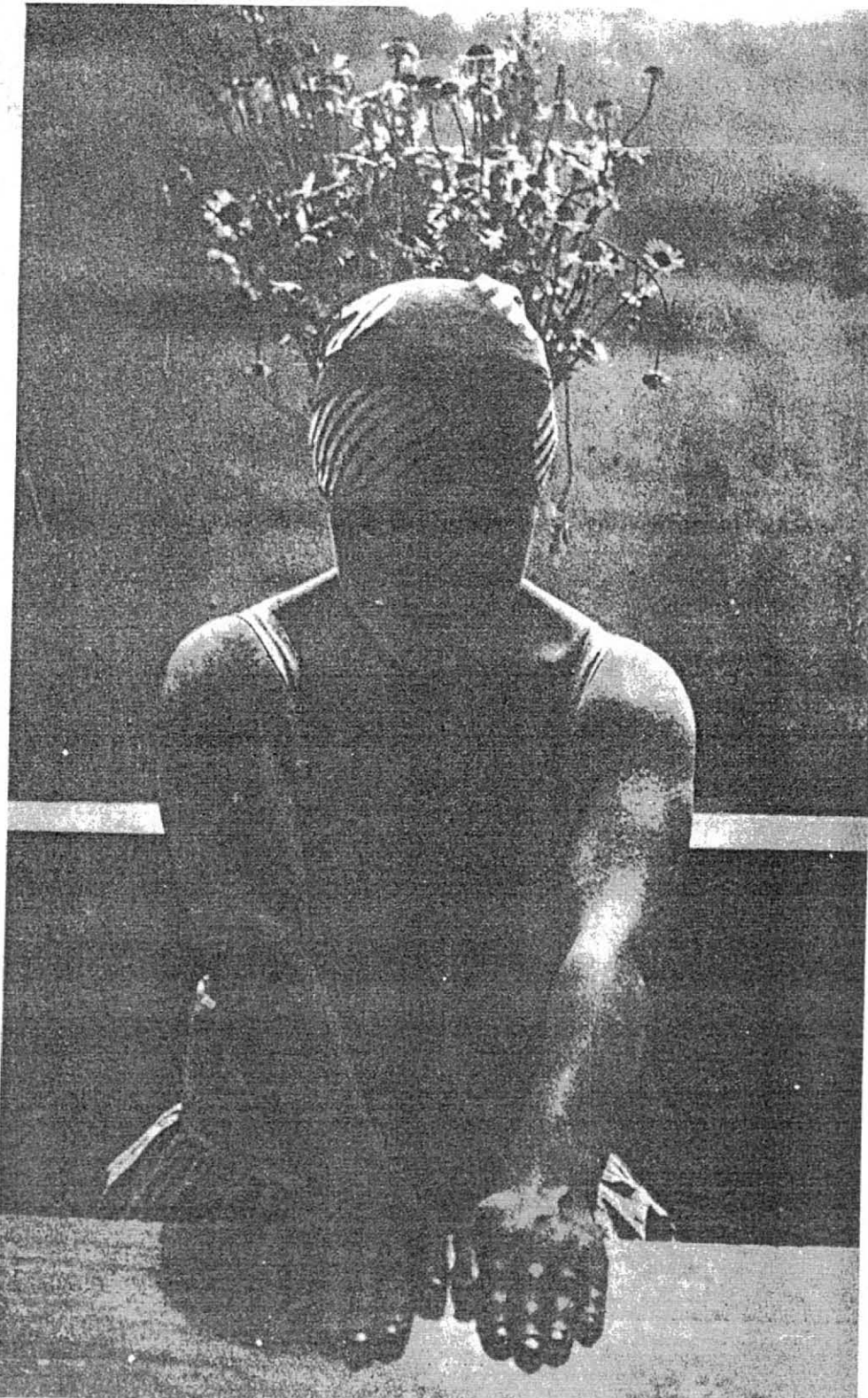


Фото А. М. Родченко.

07 032

2



Выше тунг-цзы, на горные откосы карабаются густые курчавые леса. В них вольная живность, еле заметные тропинки и сделанные из бочек улья лесных пасечников, переманивающие к себе рои диких пчел из дупл.

А там, где обрывается лес, идут к облакам серозеленые склоны лугов, по которым карабаются отары стройных и тонкохвостых сычуанских баранов, под командой пастушонка и помощника пастушонка, козла.

Я боюсь острых язвительных козлиных рогов, но люблю пускать пальцы в теплую, глупую, непроходимую баранью шерсть.

Солнце падает. Время к семи часами. Близко ужин. Обратной дорожкой рву цветы. Пальцы тянутся к золоту цветов горчицы. Бабушка дергает меня за плечо: „Нельзя. Эту горчицу засеяли крестьяне. Не смей рвать, им это не понравится“.

Нутро комнат синее. Карабаюсь на стул и втыкаю свой букет в вазу на письменном столе. Мама наливает воду в вазы. Сажусь на свой стульчик, отдыхаю. Молчу. Смотрю как мать накрывает на стол и приносит горячий рис.

От всех блюд идет пар. Сегодня нет холодных закусок. Сегодня мы ужинаем без старшего дяди. Он единственный человек, заедающий холодной закуской желтую водку.

Ужин валит меня с ног. Спать, спать, спать, спать. Мама меня раздевает. Мягко покрывает одеялом и говорит: „Спи спокойно, не сбрасывай одеяла и не комкай“.

Со двора неистовыми бубенцами обзванивают темноту цикады. Комариный писк тычется в углы. Мама сидит рядом со мной, гладит рукой по одеялу и поет песню без слов. Я гляжу на полог из тонкой льняной ткани. На нем нарисованы ветки сливы — цветы розовые, листья синие. С досок кроватного потолка свешивается корзинка. В ней белые цветы — и-най-сян. Эти цветы были бездушны весь день, но сейчас от них, сквозь прутья корзинки, сочится свежее благовоние.

Над кроватью каждого китайца ночью висит корзинка и-най-сян.

Мамнина песня смешивается с запахом и-най-сян. С темнотою, цикадами и далеким скользким бегом Ян-Цзе. Я засыпаю.

## ПРОТЕЗА.

Вл. Кораблинов.

*Отрывки из поэмы о декабристах.*

Тот Петербург чудной.  
По Невскому проспекту  
катаются кареты  
и шапокляки ходят.  
Фонарь. Казанский в инее.  
А небо серо-серое,  
и вечерами синее.  
Калач пекарни —

унылый символ.  
Ходят гусары  
и кирасиры.  
Скрипят тяжелые костыли,  
коиими город подперт.  
Он на болоте стоит.  
Так пожелал Петр.

Рылеев промолчал,  
и все молчали.  
И тут услышали: стучат.  
То гости собирались к чаю.

Над омраченным Петроградом  
шагали дюжие солдаты.  
Одухотворенность на лице —  
она становится преувеличен-  
ной, —

когда саврасый унтер-цер  
дает солдату зуботычины.  
Поют сапоги.  
Поют сапоги.  
Солдат погиб.  
Солдат погиб.  
Шпицрутены. Вечер. Тоска.

Задницами орудуя, как подуш-  
ками,  
— кому доведется помять их? —  
дамы ведут разговоры с Пуш-  
киным  
героем родных хрестоматий.  
Вот этот! Вот этот! Этот!  
Чернявый, как рояль.  
Он тоже был поэтом  
великим, говорят.  
И тут же, тут же, тут же,  
прекрасный, как Парис,  
князь Александр Бестужев  
горячий декабрист.

Иногда человек сходен с окурком.  
Слюнявый—нужен кому—зачем?  
В другом конце Петербурга  
шел человек в плаще.  
Вывесочник рисует, франтиху  
с вывихом в левой ноге:  
вывесочник пошляк.  
За звенящею дверью—Полнна  
Гебль  
Салон Модных Шляп.

Плащ распахнут,  
эполетное плечико.  
Звоночек плачет, звоночек  
звенит.

Душистый карман являет серд-  
дечко—  
поддельное  
в медальоне  
—сувенир.

Вот они! Вот они!  
А началось с рылеевского чаю.  
Кончилось иностранными сиротами

и петербургскими ночами.  
И все стихи читают.  
И все стихи читают.

Каховский наконец  
с огромным пистолетом...  
Начинается романная уголовщи-  
на..

Барьер. Стреляет пистолет —  
и никнет враг на снег.  
Идет. И ветер плащ полощет.  
Угловатый, и взором дик,  
не то актер, не то настройщик,  
не то трагический бандит.  
Мой друг простуженный  
идет. Хромой. Лишь одолевает  
сырость.

Чтоб селедкой поужинав,  
опять заливать гноящиеся ды-  
ры.

Холодная, как рука базарного  
нищего,

и как флакон пустая.  
Настройщики! Пушкины!  
Жулики! Сыщики!  
И все стихи читают.  
И все стихи читают.

Скрипя торцы на башмаке,  
углами к ночи серыми,  
пройдем несложный этот макет  
шагами гуливеровыми.  
И снова пьет Рылеев чай,  
и теплится свеча.  
В передней звонит телефон.  
И руша кринолинами,  
бежит жена вскричать „алло“  
чрез спальню в гостиную.

К окошку снегу намело,  
так, что и в дверь не влезете,  
а в телефон кричит „алло“  
Павел Иванович Пестель.

А! Пестель! Пестель! Ждем дав-  
но!  
И Пестель чистит свой мундир.  
а ветер валит с ног,  
то сзади, то впереди.

Напрасно, ветер и снег, поло-  
щите  
края полковничьей шинели:  
бредет чудака впотьмах и ошу-  
пью.

Соединятся  
юг и север.

— Убить царя — сказал Кахов-  
ский  
и поспешил к себе в чулан.  
Рукою твердой и бреттерской  
он сразу нащупал нужный хлам.  
Ночь.

Сальным огарком тебя не вы-  
гнать  
Ветер. Дождь. Вас и мне не  
унять!

Послушайте, как пустые бутылки  
вздрагивают и звенят.  
Тихо становятся в ряд...  
И холодные губы  
выговаривают, говорят:  
— убить царя,  
— убить царя.

Ужасный пистолет.  
Огромный пистолет.  
В дуло стучат дыре виски  
и пять бутылок на столе  
уж разлетелись вдребезги.  
Порохом, порохом воняет дыра.  
Выстрел! Царь упал! Раз!  
Выстрел! Жена царица! Два!  
Выстрел! Выстрел! Четыре! Пять!  
Усталый падает на диван  
и не в кого больше стрелять!  
Опять встал. Поискал.

Поискал, походил, сел.  
Скорей, скорей пистолет к вис-  
кам.

Бутылки все.

Еще шоголь  
не бреет шоку,  
от темного сна не прозрели еще.  
Царя Петра медяное око  
дивуется на необычайное зрели-  
ще...

Пришли и стали. Уходите!  
Чего стоять с самого утра.  
Потом чухонка вскричала: сби-  
рень —  
и мерк Петра дичайший зрак.

Тогда глаза открыло время —  
миров точнейший хронометр —  
и видит: наступило время...  
А войско студит об ветер.  
Устало тухнут фонари...  
Гори фонарь... Пока гори...  
Иные фонари карет  
подкатываются к солдатам.  
И революционное карре  
у почерневшего Сената.

Царь Николай, едва от сна встав,  
ступил на сразу две ноги,  
рукой искусного гимнаста  
солдата бил об сапоги.  
Потом до поту гнал курьера.  
Потом из уха чистил серу.  
И вдруг, досадно омрачен,  
вспомнил на второй затылке  
из трубки царственной и тяжкой,  
что богу не молился он.

Одинокий рассвет  
ходит по холодным торцам,  
подойдет к фонарю и заскучает,  
гляднет в окна глухого дворца,  
а там царь сердает.  
Дают ко двору лошадку бы-  
струю —  
садится царь со своими мини-  
страми.

## „Какая была погода в эпоху гражданской войны“?

В. Перцов.

### I

Природа излюблена литературой, как предмет описаний. „Чуден Днепр“ и лирические отступления Гоголя заучивались в школах наизусть, — взрослое поколение лучше всего из всей литературы помнит эти места. Поэтическая география явно преобладала над экономической, — в ту пору еще не было правильного экономического районирования.

Из русских писателей Тургенев отравил наше детство незумскими, по трудности знаков препинания, диктантами: точка с запятой в его описаниях природы стоит там, где наше поколение, без всяких обиняков, поставило бы просто точку.

Природа — это бессменная заставка и концовка огромного числа рассказов, повестей и романов... „Мороз крепчал“ — так начинала свой роман непризнанная писательница в одном из рассказов Чехова.

Какое исключительное место в стихотворениях русских поэтов занимают времена года, можно определить, сравнив их со стихотворениями, написанными после революции.

Итак, — это тема исследования, которым здесь мы не станем заниматься. Вспомним только, что рукописи почти всех великих произведений нашей литературы (за исключением Достоевского) были написаны не в городе, а в деревне.

Теперь большинство писателей живет в городах, но продолжает описывать природу так, как будто они живут в деревне. Похоже на то, что перестав говорить о природе, они тем самым вычеркнули свои произведения из разряда художественных.

Восход или закат уже не являются фактами их жизни в той мере, как это было у прежних авторов. Эти положения земли по отношению к солнцу в очень малой степени определяют сознание современных героев, но — тем хуже для последних!

— Солнце и луна влияют не через жизнь, а через литературу.

### II

Максим Горький является, бесспорно, одним из лучших современных прозаиков. Ему в гораздо меньшей степени присущи недостатки, происходящие от литературной зависимости, чем любому среднему писателю. Поэтому его пример должен быть особенно показателен.

Среди последних произведений Горького „Мои университеты“, как известно, представляют собой автобиографию автора, исторически, документально правдивую. Она написана замечательно — точным и задушевно-откровенным языком. Горький сделал хронику,

развертывая один за другим факты собственной жизни, как они приходили в голову, не будучи связан никакими требованиями композиции, единства действия и прочими обязательствами, которые накладывает роман или повесть. „Мои университеты“ не воспринимаются, как беллетристика, во всяком случае, как нормальная беллетристика с „героями“ и „типами“.

Привычно-литературным выглядят только описания природы. Их конструктивное назначение, в большинстве случаев, — заполнить пустоты между действиями, разделенными во времени или пространстве.

Но гораздо чаще эти пейзажи данную задачу не выполняют или, будучи изъяты, ничем не нарушают повествования.

Сдается, что они введены в хронику по писательской привычке. Приведем примеры:

„Надо мною лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиной сердито гудит город“ (Собрание сочинений, Гиз, 1924, т. 16 стр., 55).

— Это по дороге на первую подпольную массовку.

„В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно“ (т. 16, стр. 188).

— Это в период невроза, вызванного первым увлечением философией („О вреде философии“).

Из сопоставления этих цитат виден авторский реквизит пейзажа: „черные клочья облаков (туч), „тени“ и т. п.

„Ветер сердито плескал в стекла окон обильно вешним дождем. Серая мгла изливалась по улице, — в душе у меня тоже стало серовато и скучно“ (стр. 87).

Такая была погода во время ночных разговоров с революционером Ромасем, у которого Горький жил на Волге. А вот погода в период первой любви:

„Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага, внизу в кустарнике шелестел ветер. Серое небо грозило дождем. Деловито серыми словами<sup>1)</sup> женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться... („О первой любви“, стр. 205).

Сравнивая эти цитаты, видим, как автор устойчиво использует обычный в литературе параллелизм между внутренним состоянием и природой. (Вспомните верленовское:

Небо над городом плачет,  
Плачет и сердце мое.  
Что оно, что оно значит —  
Это унынье мое?

Несколькими строками дальше рассказана изумительная деталь, которая сразу ставит на ноги всю ситуацию.

<sup>1)</sup> Курсив всюду наш. В. П.

„Все было очень грустно и очень хорошо, но — оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широкие в поясе и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма в три длиною, — теперь нет таких булавок, к счастью влюбленных бедняков.

Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне: неосторожное движение — и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а куртка повара — коротенькая по поясу. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?“

Булавка, как вещественное оформление события совершенно закрыла собой „серое небо“, „шелест ветра“ и прочие декоративные моменты.

При других обстоятельствах, конечно, декоративные моменты становятся составляющей величиной, характеризующей положение. Известно, например, что в картине „Мать“ Пудовкина, сделанной по повести Горького, введены куски весеннего пейзажа. Эти куски, по общему впечатлению (в особенности ледоход), необычайно подчеркивают социальную тему картины — первое революционное столкновение классов.

В картине „Ваша знакомая“ Кулешова психологический финал вещи не отделим от проливного дождя. Там на дожде построена тенденция ленты. Журналистка Хохлова после разрыва с Петронским говорит: „Какая хорошая погода“. Дождь льет, как из ведра. В это же время Петровский, изгнанный Хохловой, восклицает: „Какая отвратительная погода“.

В данном положении дождь, как теперь говорят, работает на все 100%.

Однако писатель, который из эстетических соображений приурочивает душевное настроение своих героев к состоянию погоды, делает такую же ошибку, как тот исследователь самоубийств, который гадает: когда люди кончают с собой — в солнечные дни или дождливые?

Связь установить все-таки можно, но проблема-то заключена не в этом.

Что же касается цитированных нами фраз из произведений Горького, построенных по этому шаблону, то они характерны, как уступки большого самостоятельного писателя сложившимся до него требованиям литературного „этикета“.

### III

„Чапаев“ — хроника гражданской войны, написанная ее активным участником — комиссаром чапаевского отряда Дм. Фурмановым. Это произведение делалось откровенно как запись фактов, без расчета на эстетическое восприятие. Автор дает характеристики исте-

рически действовавшим настоящим людям, фиксирует действительные положения.

Нужно было обладать талантом и мастерством, чтобы из огромного фактического материала заметить, выделить и выразить в слове такие самые важные и впечатляющие моменты и черты, которые правильно и конкретно воссоздают данный отрезок истории. В большой мере автор мемуаров этого достиг. Его заслуга состоит еще и в том, что он не соблазнился возможностью сделать из фактов символы, а из действительно существовавших людей — „обобщения“, „типы“ или искомым ныне, так называемых „живых людей“.

Задолго перед встречей с Чапаевым он слышал о нем легенд, но столкнувшись лицом к лицу, записал у себя в дневнике: „Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками, жидкие, темнорусые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий, нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельфельские усы“ („Чапаев“, Гиз, 1926, стр. 66).

Преимущества этого описания видны особенно хорошо, если сопоставить его с описанием выдуманного художественного героя у Серафимовича в „Железном потоке“.

„У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки“ (А. Серафимович, „Железный поток“, Эпопея, изд. „Мосполиграф“, 1924 г., стр. 7).

„Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек и видно было, как над скулами играли желваки“ (стр. 14).

Таков герой эпопеи т. Серафимовича. На всем ее протяжении он орудует своими „железными“ (стр. 9), „каменными“, „сжатыми“ (стр. 17) и т. п. челюстями, так что если и создается какой-то физический облик, то это облик вроде жука-олени. А этот жук замечателен тем, что если оторвешь у него его мощное брюхо с крыльями, где помещается весь его организм, то живет сама громадная и страшная мощная челюсть — рога, которые сами и страшно кусаются.

Так и у т. Серафимовича указанная челюсть Кожуха ведет самостоятельное существование. А потом жалуются, что нашим писателям не удаются „положительные типы“!..

Фурманову, бесспорно, удалась его сослуживцы — красноармейцы, командиры и, наконец, сам Чапаев.

„Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступления. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

— Циркуль.

Ему дали плохенький, оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал, — не нравится:

— Вихорь, поди, у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклеивать... (стр. 73).

— Дорого дал бы беллетрист, разыскивающий „положительного типа“ за эту деталь с циркулем!

А вот отрывок речи Чапаева против мародеров:

— „Товарищи, — крыл он площадь металлическим звоном. — Я не потерплю того, что происходит! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый это ч

Он энергичный в воздухе потряс правой рукой.

— А я попадусь, стреляй в меня, не жалея Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо — так разбуди. Я навсегда с тобой, я поговорю, скажу што надо... Обедая — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Вот я какой командир!

Федору (комиссару) стало неловко от беззастенчивого ребячьего бахвальства, а Чапаев, минутку подождав, крыл невозмутимо\*.

Вот — Чапаев. Весь тут — можно потрогать.

Стоит присмотреться к этим источникам характеристики человека, в особенности сейчас, когда наши критики (и гг. напостовцы и Воронский одинаково) тоскуют о „живом человеке“, заняты дискуссией о романтизме и реализме. И Правдухин <sup>1)</sup> и Лежнев <sup>2)</sup> распинаются по поводу фадеевского „Разгрома“ о том, каким способом лучше „оживлять“ положительный тип.

Лежнев отмечает очень распространенный способ добиваться жизненности „положительных“ типов путем внесения мелких, юмористических черточек. Но он же говорит, что это способ дешевый.

Правдухин, одобряя деталь с фотографической карточкой в воспоминаниях героя „Разгрома“ Левинсона с сожалением заключает, что „этого всего недостаточно для полного оживления героя“.

Создается сложная теория литературной гальванизации, посредством которой положительный „труп“ должен быть оживлен в положительный „тип“.

А настоящее решение вопроса, к которому идет тот же Фурманов, находится тут же, что называется, под самым носом, но оно лежит в стороне от дискуссии, его не видят.

О, эта тоска по положительным типам! Она не нова! Современники упрекали Гончарова зачем он написал отрицательный образ Волохова и не дал противоположного образа в новом поколении. Еще Гончаров защищался, что „это старый упрек“, ко-

<sup>1)</sup> „Красная новь“ № 5, 1927.

<sup>2)</sup> „Новый мир“ № 8 1927.

торый делали тому же Гоголю: зачем в „Ревизоре“ или „Мертвых душах“ не вывел он ни одного хорошего человека? <sup>1)</sup>

Положительный тип — понятие эстетическое, а не практическое. Положительный тип, как и описания природы, вводится „для красоты“. Это, по сути дела, явления одного порядка. Но если реальный человек — продукт социальной среды, то тем самым он уже и обобщение. Нужно только уметь вскрыть и конкретно показать эти связи.

Тип — это обобщение обобщений. Нельзя требовать от писателя, чтобы он обобщал лучше, чем обобщает жизнь. Да и не это нам нужно.

Человек равен индивиду или нет? — в частности нового человека и изображение действительности с (?) научным диалектико-материалистическим пониманием общества. Буржуазный реализм и весь период своего существования имел неразрешимое противоречие между мировоззрением художника и материалистическим методом творчества, что и привело его к гибели\* <sup>2)</sup>.

„Пролетарский реализм есть метод художественного воспроизведения реального жизненного процесса и реальных характеров эпохи. Буржуазный реализм стихийно (!) познавал жизнь через психологический анализ индивида (?). Пролетарский реализм стремится сочетать психологический анализ человека (позволительно спросить: человек равен индивиду или нет?), в частности нового человека и изображение действительности с (?) научным диалектико-материалистическим пониманием общества. Буржуазный реализм и весь период своего существования имел неразрешимое противоречие между мировоззрением художника и материалистическим методом творчества, что и привело его к гибели\* <sup>2)</sup>.

Сколько неизвестных в таких определениях?!

Грустно смотреть на эти костоломные выкрутасы нашего теоретика в области условных эстетических схем, вдвойне грустно, потому что реальные источники материала находятся у нас в поразительном небрежении. Мучаемся над тем, каак ловче объегорить читателя, выдавая недоносок незрелой мечты за „живого человека“, а настоящее живье, которого столько было у каждого в наш емкий век, стесняемся — чего проще? — зафиксировать, ничего не прибавляя!

Возвратимся к „Чапаеву“ Фурманова. Реальный материал оказывается и наиболее верной страховкой от штампа. Если в нормальной повести или романе природу описывают из своего рода литературной вежливости, то в мемуарах Фурманова поражает та скупость, с которой автор заговаривает об этом предмете. Сам по себе этот факт может быть и случайным, но неслучаен подход к материалу:

„Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечи, прила-

<sup>1)</sup> И. А. Гончаров „Лучше поздно, чем никогда“.

<sup>2)</sup> Зонин, „Какая нам нужна школа“. „На литпосту“ № 11 — 12, 1927.



дили его на склизкое чайное блюдо, сгрудились вокруг стола, разложили карту"... (стр. 86).

„До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, неожиданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступление остановили. Но пурга крутила недолго, — через полчаса цепи снова были в движеньи“ (стр. 99).

„Бригада Еланя удерживала этот напор (неприятеля), разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда полкам добраться стоило больших трудов: не позволяли распустившиеся дороги, бурные, глубокие весенние ручьи. Не только орудия везти было невозможно, даже пулеметы переправлялись в разобранном виде, ссыпанные в мешки“ (стр. 182).

„Подступали осенние холода. За свежими, ядерными днями опускались быстро сумерки, за сумерками — черные, глухие, осенние ночи. Все безнадежней становилось положение отступающих казачьих частей; впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая сторона... (стр. 359).

Во всех этих примерах природа учитывается, как оперативное условие войны, — такова установка автора, чуждая эстетического задания. Фурманову недостает изобразительных средств — в этом слабая сторона приведенных отрывков, их беглость, но установка, отношение к материалу совершенно правильное.

Интересно сопоставить с этим трактовку того же материала Бабелем в его книге „Конармия“, общепризнанном литературном шедевре, посвященном гражданской войне.

„Конармия“, по сути дела, также мемуары участника, но это произведение эстетическое по преимуществу. И! — характерно — природа здесь перестает быть реальным вещественным оформлением исторических событий, но превращается в раскрашенную картинку природы:

„Надвиг шесть донес о том, что Новоград-Волинск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурового мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волянь изгибается, Волянь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, и штандарты заката веют над нашими головами“ (Бабель „Конармия“, Гиз, 1927, стр. 3).

Или: „Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу героическому закату. Его кипящие

реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов“ (стр. 48).

Сквозь гипнотическое мастерство бабелевского стиля гражданская война выглядит привлекательно. Заласкав читателя сновидениями своих образов, Бабель скрадьвает поневоле грубую и неприглядную реальность. Совершив подмену реального мира своим видением, он фатально утрачивает исключительное свое чутье.

Так исторические современники превращаются в оперносказочных героев.

— „Командары, — закричал он (К. Ворошилов), оборачиваясь к Буденному, скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картина, и смеется над тобой...

... — Бойцы и командиры, — сказал он (Ворошилов) со страстью, — в Москве, в древней столице (курсив наш, В. П.) борется небывалая власть“ (стр. 153).

Здесь Ворошилов, донецкий слесарь и Буденный, вахмистр царской армии, заграничаны под васнецовских „богатырей“.

Подмена конкретного факта его эстетической аналогией — ошибка, которой Бабель пользуется умнее кого бы то ни было из современных писателей, но даже он становится ее жертвой.

#### IV

Ветер, дождь или вьюга учитываются однажды перед боем и, затем, выносятся за скобки победы, одержанной одной армией над другой. Обе — белая и красная — воевали при одной и той же погоде.

Гражданская война кончилась и стала историей.

Победа стала предпосылкой действительности без войны.

И вот теперь — история войны — едва ли не главная тема искусства, создаваемого в сегодняшнюю „мирную“ эпоху.

Десять лет Октября. Искусство вновь мобилизует свои силы, чтобы дать инсценировку истории.

Мы исходим в спорах о методах инсценировки, вместо того чтобы конкретно раскрыть материал через творческий подбор фактов. Появляются произведения, в которых политические события преподносятся сквозь так называемую личную интригу, превращаясь в „интересный роман“<sup>1)</sup>. Из того, что время мы переживаем сейчас историческое, многие делают вывод, что в литературе — это время „исторического романа“.

Когда после успеха „Юрия Милославского“ Загоскин задумал другой исторический роман „Рославлев или, Русские в 1812 году“, Жуковский писал ему: „Исторические лица 1612 года были в вашей власти, вы могли выставлять их по своему произволу; исторические лица 1812 года вам не дадутся. С первыми вы легко

<sup>1)</sup> Неумомы Ал. Толстой (см. „Хождение по мукам“ в „Новом мире“).

могли познакомить воображение читателя, и он благодаря вашему таланту уверен с вами, что они точно были такими, какими ваше воображение их представило вам; с последними этого сделать нельзя: мы знаем их, мы слишком к ним близки; мы уже предупреждены насчет их и существенность загородит для нас вымысел<sup>1)</sup>.

„Рославлев“ появился 1831 году. Читающей публике он не понравился. С. Т. Аксаков объясняет неудачу нового романа так: „Не только современное, величайшее в мире событие, так близко к нам стоявшее, что глаз еще не мог оглянуть его, но и самое содержание романа, основанное на современном же, известном тогда, происшествии, не могло произвести полного впечатления и возбудить сильного участия, которое должен произвести роман. Потеряв достоинство голого факта, силу действительности, происшествие не имело и достоинства вымысла, ибо все его знали...“

...Еще все актеры, кончивши великую драму, полные ею, стояли в каком-то неясном волнении, смотря с изумлением на опустевшую сцену их действий — как вдруг начинают им представлять их самих: многим из них это показалось курьезной комедией<sup>2)</sup>.

И Жуковский и Аксаков высказываются в данном случае против, как мы бы теперь сказали, „игрового“ метода, за документальный.

Действительно, воспроизведение революционной истории с установкой на современное восприятие, в принципе, прямо противоположно игровым, эстетическим методам.

Так, любой эпизод борьбы за власть, от политически-решающего, как взятие Зимнего дворца, до безвестного расстрела какого-то контрреволюционера одиночным порядком, получают свой смысл, как средства к определенной цели. Поэтому „воспевать“ тот или иной эпизод гражданской войны можно только с помощью таких выразительных средств, которые вытекают из самого существа данного факта.

Нельзя интересоваться контуром Зимнего дворца в то время, когда решающее значение имели его ворота и подступы к ним. Интересуясь воротами, некогда разглядывать резьбу на них.

Пейзаж поля битвы на языке боя есть топография местности. Вот почему расцветка облаков над полем сражения берется не в серьез их жизни, а ради удовольствия из литературы.

Октябрьская революция произошла в городе красивой архитектуры. Но Дворцовая площадь с точки зрения Временного правительства за несколько дней до Октября — это разграфленный на клетки плацдарм. Он разделен на участки и для каждого высчитаны углы наводки и количество делений дистанционной трубки.

1) Курсив аш. В. П.

2) Курсив везде наш. В. П.

В Зимнем, как известно, были запасы вин и продовольствия и его гарнизон, не замечая величия исторического момента, снабжал продуктами своих отошавших родственников и штатских друзей. У царских поваров, сохранившихся во Дворце, можно было за недорогую взятку достать коньяк „три звездочки“. Коновалов, сохранившийся во Дворце в день осады обратился к гарнизону Дворца с призывом защищать „идею власти“.

Надо всем этим, несомненно, было вещественное оформление какого-то пейзажа, ведь и 25 октября 1917 года была, несомненно, погода, доступная наблюдению и описанию.

Если туман, нависший в этот день над восставшим городом облегал крейсеру „Аврора“ его оперативное задание — подойти по Неве ближе к тыльной стороне Дворца и осуществить свою миссию великолепной хлопущки, то этот туман достоин быть отмеченным.

Если же этот туман только дает пищу для великолепного сравнения, то он застигает исторический факт и должен быть рассеян. К этим мыслям вплотную подводит подлинный документальный материал нашей революционной хроники. Мне пришлось недавно просматривать забываемой, потрясающей силы, куски, заснятые в эпоху гражданской войны: борьба с чехо-словаками, белогвардейцы на Дальнем Востоке, голод в Поволжье. Из этих и других таких же достоверных документов Э. Шуб монтирует сейчас мнущее десятилетие революционной истории.

Куски сняты плохо, нет установки на кадр, т. е. на нарочитое эстетическое оформление факта, не всегда различимы лица людей, „герои“ неотделимы, сплошь и рядом, от „толпы“ по причинам фотографического свойства.

По этим же причинам облака упорно не получались на кусках и небо над чехо-словацким участком фронта такое же, как на Дальнем Востоке.

Там, где оканчиваются фигуры людей, лошадей, повозок и воинских эшелонов, там за этой неправильной линией начинается бесцветный, серый, точно вылизанный, безразличный фотографический фон, своим безразличием как будто подчеркивающий героические будни величайшего социального переворота.

Но когда на этом фоне руководитель Красной армии, обходя фронт отличившихся бойцов и оделяя их наградами, внезапно, повинуюсь повелительному чувству, начинает целовать подряд людей плохо и разнокалиберно одетых — кто в папахе, кто в картузе, иные без пояса, то, переменяя себя, чтобы не отвести глаз от экрана, начинаешь ощущать тот самый ток энтузиазма, которым были спаяны начатки первой бедной народной армии.

Обезображенные голодом маленькие люди в Поволжье. Братские могилы детей — жертв. Реальные „горы трупов“. Патриотическая манифестация во Владивостоке.

Завидна заслуга мастера, который сумеет открыть рот этому ненаглядному материалу, который сумеет реальное прошлое обратить на службу реальному будущему!

## Демонстрация в октябре.

По заданию Московской Октябрьской комиссии Ассоциация Действенников разработала детальный план московской демонстрации в праздник десятилетия. Статья излагает те принципы, которые легли в основу этого плана.

Обследования показали, что теперешние демонстрации, устраиваемые по традиции в дни революционных праздников, не удовлетворяют массу участников, не дают ей той зарядки бодрости, которую давали демонстрации хотя бы 1919 года. Демонстрация превращается постепенно в обряд, в скучную утомительную повинность. В связи с приближением праздника десятилетия нужно коренным образом пересмотреть вопрос о демонстрации. Организаторам празднования необходимо подумать о видоизменении установившейся формы демонстрации, так как на сегодня эта форма оказывается устаревшей, не соответствующей условиям сегодняшнего быта.

Почему это произошло?

Достаточно припомнить, что и демонстрация возникла и существовала до революции (а на Западе существует и сейчас), как средство непосредственного нажима на буржуазию. Рабочая масса выходила на улицу для того, чтобы добиться путем демонстрации увеличения зарплаты, уменьшения рабочего дня, пособий при безработице<sup>1)</sup>. В задачу демонстрантов входило дезорганизовать городское движение и показать опешившему буржуа свои силы.

У нас в годы гражданской войны, когда каждый трудящийся был солдатом революции, демонстрация имела значение военного смотра, военного парада. Здесь решающим был подсчет сил, показ боевой готовности как организаторам революционной обороны, так и агентам контр-революции.

И в том и в другом случае цель демонстрации была очевидной для всей массы участников. Каждый понимал: для чего он должен выйти сегодня на улицу.

Данная целевая установка определяла организационные формы демонстрации: ее маршрут, построение колонн, характер движения, поведение демонстрантов.

Переход к мирному строительству поставил перед нами другие задачи и цели. Однако они не нашли своего отражения в демонстрации. Ее форма, сложившаяся еще в дореволюционные и военные годы, осталась той же, хотя изменились производственные и бытовые условия, возникли иные политические лозунги.

Правда, в первые годы нэпа делались попытки заменить военную строгость наших демонстраций карнавальными увеселениями. Однако оказалось, что далеко не всегда эта карнавальность мо-

<sup>1)</sup> См. „Новый Лэф“ № 1.

жет соответствовать содержанию тех лозунгов, под которыми шли демонстранты. Кроме того, современному горожанину, окруженному индустриально-оборудованной средой, чужда старомодная романтика карнавальных увеселений — Карнавалы не привились.

Делались попытки осовременить демонстрацию путем изменения ее убранства. Но это было совсем бесполезно, так как центр вопроса лежал не в устарелых украшениях, а в устарелой организационной форме. У массы участников было утеряно представление о конкретной цели демонстрации. Рядовой участник перестал понимать — для чего он должен пойти в демонстрацию.

Понятно поэтому, что основная задача, которую должны поставить перед собою организаторы октябрьского праздника, заключается в том, чтобы найти такую форму демонстрации, придать ей такой характер, который привлечет бы массы к участию в демонстрации не в силу привычки и традиции, а в силу непосредственной заинтересованности.

В данном случае самое содержание праздника уже подсказывает характер демонстрации. Это прежде всего смотр местных достижений во всех областях десятилетней стройки. Это смотр нашего роста, парад успехов наших фабрик, заводов, учреждений. Итог на вчера и план на завтра.

Чрезвычайно важно так организовать демонстрацию, чтобы весь этот смотр был развернут перед самой массой демонстрантов. Показать демонстрацию самими демонстрантам, — вот задача, которая при верном ее решении даст новый смысл демонстрации, увеличит ее воздейственную силу.

Если до революции объектом, перед которым разворачивалась демонстрация, была буржуазия, были органы государственной власти, если в военной демонстрации таким объектом являлись организаторы революционной обороны, то теперь таким объектом должна стать сама масса участников.

До сих пор обычно рядовой участник только из последующих газетных отчетов мог получить представление о демонстрации в целом. Сам он кроме ближайших рядов не видел ничего. Демонстрация приобретет для него новый смысл, если он теперь увидит сам эти тысячные массы, просмотрит отчет наших успехов.

Организаторы должны взглянуть на демонстрацию глазами рядового участника и с этой точки зрения пересмотреть привычную форму шествия. Так реорганизовать демонстрацию, чтобы вся масса ее участников стала центром праздника, — вот основная задача.

Два примера, иллюстрирующих эти положения.

1. Маршрут наших демонстраций обычно все еще имеет характер военного смотра. Построив маршрут так, чтобы организовать встречное движение колонн, — мы сможем показать демонстрацию всем ее участникам.

2. При организации наших теперешних демонстраций жизнь города оказывается никак не налаженной. Здесь мы неуместно копируем опыт дореволюционной демонстрации — когда до революции

забастовавшие рабочие выходили на улицу,—обычная городская жизнь замирала: прекращалась торговля, бездействовал транспорт, буржуа прятались по квартирам. Эта дезорганизация жизни буржуазного города была одной из задач дореволюционной рабочей демонстрации.

В условиях победившей революции эта задача, конечно, отпала. Устраняя теперь демонстрацию, мы должны будем стремиться не к дезорганизации обычной жизни советского города, а к реорганизации ее для наилучшего обслуживания самой демонстрации. Это значит, что нужно приспособить для обслуживания демонстрантов работу городского транспорта, общественного питания, детских учреждений и т. п.

Изменить привычную форму демонстрации в соответствии с новыми бытовыми и производственными условиями, использовать для обслуживания демонстрантов техническое оборудование современного города—вот задача, которую мы должны будем разрешить в октябре.

От редакции: рукописи не возвращаются.

**В номере:**

Хорошо!—В. Маяковский. Записная книжка Лефа. Семен Проскаков—Н. Асеев. Дэн-Сы-Хуа.—С. Третьяков. Протеза.—В. Кораблинов. „Какая была погода в эпоху гражданской войны“?—В. Перцев. Демонстрация в октябре.—В. Жемчужный.

Обложка—А. М. Родченко.

Фото—„Пушкино“.—А. М. Родченко.

Адрес редактора „Нового Лефа“—Москва, Лубянский проезд, 3, кв. 12  
Тел. 73—88.

Ответственный редактор В. В. Маяковский.

Главлит № 95396.

Гиз № 22013.

Тираж 2 500.

Типография Госиздата „Красный пролетарий“. Москва, Пименовская, 16.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

**ОКТАБРЬ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА**  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Дм. ФУРМАНОВ

**МЯТЕЖ**

Изд. 3-е

Стр. 470

Ц. 2 р.

**ПОДКОП**

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Стр. 468

Ц. 2 р.

**ЧАПАЕВ**

Изд. 4-е

Стр. 372

Ц. 2 р.

**ЗА**

**КОММУНИЗМ**

Стр. 248

Ц. 1 р. 50 к.

А. СЕРАФИМОВИЧ

**ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК**

Стр. 232

Ц. 1 р.

А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ

**ТЯЖЕЛЫЕ  
ШАГИ**

Роман-хроника

Печатается в журнале  
„ОКТАБРЬ“

**ТРАВА И  
КРОВЬ**

(ЛИНЕВ)

Повесть

Стр. 192

Ц. 30 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ, МАГАЗИНАХ  
И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА

Москва, 9, ГОСИЗДАТ, КНИГА-ПОЧТОЙ  
ВЫСЛАЕТ КНИГИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ